

«УРОКИ РУССКОГО»

ПЕРСОНА
ВНЕ
ДОСТОВЕРНОСТИ

Колибри

ВЛАДИСЛАВ ОТРОШЕНКО

классическая форма,
современное содержание.

Владислав Отрошенко

**Персона вне
достоверности (сборник)**

«Автор»

2010

УДК 821.161.1-3Отрошенко
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Отрошенко В. О.

Персона вне достоверности (сборник) / В. О. Отрошенко —
«Автор», 2010

ISBN 978-5-389-01160-1

Пространство и время, иллюзорность мира и сновидения, мировая история и смерть – вот основные темы книги «Персона вне достоверности». Читателю предстоит стать свидетелем феерических событий, в которых переплетаются вымысел и действительность, мистификация и достоверные факты. И хотя художественный мир писателя вовлекает в свою орбиту реалии необычные, а порой и экзотические, дух этого мира обладает общечеловеческими свойствами.

УДК 821.161.1-3Отрошенко
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-389-01160-1

© Отрошенко В. О., 2010
© Автор, 2010

Содержание

Персона вне достоверности	6
Прощание с архивариусом	7
1	7
2	11
3	13
4	14
Почему великий тамбурмажор ненавидел путешествия	17
Тайны жалонёрского искусства, или Разоблачение д-ра Казина	29
1	29
2	30
3	37
4	38
5	43
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Владислав Отрошенко

Персона вне достоверности (сборник)

© В. Отрошенко, 2010

ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2010

КоЛибри®

Персона вне достоверности

Цикл повестей

В оформлении использованы работы художника Дмитрия Крымова, созданные им по мотивам литературных произведений Владислава Отрошенко и находящиеся в коллекции писателя

Прощание с архивариусом Краткое исследование издательской деятельности Кутейникова

1

Оно существовало всего три месяца, это призрачное книгоиздательство С. Е. Кутейникова «Донской арсенал» на Атаманской улице. В мае оно выпустило две брошюры, в июле – тощую книжицу с помпезным шмуцтитолом и бесследно исчезло. В доме № 14, где оно размещалось, занимая весь первый этаж, пристройку и обширный подвал, в августе, как явствует из рекламного объявления в «Донских областных ведомостях», уже обосновалась французская фотография, оснащенная новейшими аппаратами из Парижа и предметами красочной амуниции средневековых армий Европы. («Жак Мишель де Ларсон увековечит Вашу наружность в романтической обстановке»). В сентябре владелец фотографии поместил в той же газете гневное уведомление, в котором говорилось, что он не имеет ни малейшего понятия об издательстве «Донской арсенал» и что он просит гг. агентов книжной торговли оставить в покое его заведение и впредь не обращаться к нему с расспросами, где им разыскивать некоего г-на Кутейникова, которого, может статься, вообще не существует в действительности. «Что же касается почтеннейшей публики, – добавлял де Ларсон аккуратным петитом, – то заведение Жака Мишеля на Атаманской, 14 открыто для нее во все дни недели, за исключением вторника. Для желающих преобразить свою внешность имеются накладные усы и бороды из театральных мастерских Амстердама».

Книгоиздатель С. Е. Кутейников откликнулся на это уведомление оригинальным способом. Рождественский номер «Коммерческого вестника» Общества торговых казаков вышел с его портретом. «Мсье Жак, – гласила витиеватая подпись, —

дабы рассеять Ваши сомнения относительно моего натурального пребывания в этом исполненном всяческой жизни, блистательно-сказочном мире и доказать Вам со всей очевидностью, что я не плод воображения гг. агентов книжной торговли, я помещаю здесь свою фотографию, сработанную на Атаманской, 14. Ваш настырный ассистент уговорил-таки меня, как видите, вооружиться датским мечом и даже наклеить за гривенник Ваши поганые усы из Амстердама. Однако же я надеюсь, что это маленькое фиглярство, на которое я решился благодаря озорной минуте и веселому повороту мысли, не помешает моим компаньонам и многим почтенным торговцам узнать меня на портрете и не судить строго книгоиздателя С. Е. Кутейникова, честь имеющего поздравить всех коммерсантов Области войска Донского с Рождеством Христовым!»

В феврале 1912 года С. Е. Кутейников вновь дал о себе знать. «Озорная минута», выхваченная им из будничного потока времени перед Рождеством, продлилась до Сретения, а «веселый поворот мысли» завел его, вероятно, так далеко, что он уже не мог остановиться на полпути. Словом, он решил продолжить газетную баталию с Жаком Мишелем.

После того как последний напечатал в газете «Юг»¹ грозный ультиматум, в котором он потребовал, чтобы г-н Кутейников, независимо от того, существует он или нет, публично изви-

¹ С ноября 1911 по январь 1912 г. две газеты Области войска Донского носили название «Юг». Одна – в Ростове-на-Дону, издаваемая Минасом Ильичом Балабановым, другая – в Новочеркасске, учрежденная Ассоциацией немецких аптекарей

нился за свою рождественскую выходку, ущемляющую коммерческие интересы его заведения, – «в противном случае, – писал уязвленный француз, – я принужден буду обратиться в окружной суд, с тем чтобы он взыскал нанесенный мне ущерб либо с таинственного издателя, либо с «Коммерческого вестника», потакающего небезобидному ерничеству этого фантастического субъекта», – Кутейников поместил во всех новочеркасских газетах, за исключением «Донских епархиальных ведомостей» и «Вестника казачьей артиллерии», объявление довольно странного, если не сказать немислимого, содержания:

«Книгоиздатель С. Е. Кутейников сообщает, что в силу неведомых нарушений в извечном миропорядке поколебалась привычная однозначность земного пространства, занятого домом № 14 по Атаманской улице, где обретается и будет обретаться вплоть до 1915 года издательство «Донской арсенал». Каким-то непостижимым способом сюда внедрился фотографический мастер Жак Мишель де Ларсон, чье назойливое заведение в этом месте и в это время,² на взгляд издательства, не более чем фантазия и пыль. Удивительно, что то же самое утверждает и г-н Ларсон относительно издательства «Донской арсенал», которое готовит в настоящее время дополнительный тираж «Исторических разысканий Евлампия Харитоновича о походе казаков на Индию». То обстоятельство, что при нынешнем обороте действительности заведение г-на Ларсона обладает, по всей вероятности, в большей степени счастливым качеством зримости, никоим образом не отразится на превосходной внешности наших книг, для которых уже закуплена отличная и вполне ощутимая бумага фабрики «Токгаузен и КО» в Екатеринодаре».

Какое впечатление произвело на француза это объявление, неизвестно. Известно только, что войсковой атаман Павел Иванович Мищенко на своем экземпляре «Гражданских новостей» (он получал их в 7.30 утра) прямо на объявлении Кутейникова написал огромными буквами, синим карандашом «Тю!!!» и послал на Атаманскую, 14 дежурного вахмистра с конным отрядом.

Разумеется, никакого издательства ни в доме № 14, ни в соседних домах вахмистр не нашел. В рапорте атаману он, однако же, доложил, что ему «удалось обнаружить некоторую невразумительность в ехидной фигуре француза Ж. М. де Ларсона, которая производит на Атаманской, 14 фотографические портреты лиц всех сословий, сама же на себе никакого устойчивого лица не имеет и может представиться в натуральном виде не только что французским фузилером, но даже хорошенькой маркитанткой. А так как означенный дом совершенно дьявольским образом погрузился в обманчивость сгинувшей жизни и невозможных времен, то и фигура упомянутой маркитантки...» Впрочем, нет нужды цитировать далее этот нелепый рапорт: вахмистр, согласно донесению караульного сотника, сочинил его «уже сильно нетрезвый», на гауптвахте, в бакенбардах а-ля Франц-Иосиф, в которых он сфотографировался у Жака Мишеля и в которых ездил все утро по городу, разыскивая, как он всем говорил не без гордости, «демоническое издательство инфернального свойства», пока наконец не взят был

(издатели Роллер и Фреттиг). Известно, что Балабанов неоднократно просил аптекарей, чтобы они изменили название своей газеты, но те всякий раз отвечали отказом, предлагая ему решить спор на юридическом основании. Балабанов, без сомнения, выиграл бы судебный процесс, так как его газета – бывш. «Донская пчела» – имела название «Юг» с 1893 г. Однако же он предпочел официальным решениям частное лихачество. Он выкупил у аптекарей право издания, выпустил, не меняя названия, три номера (в одном из них напечатал свое объявление Жак Мишель) и закрыл газету. И все это, очевидно, Балабанов проделал лишь для того, чтобы затем заявить в своем «Юге» на первой полосе, что «случайно возникший из склянки и во всем подобный эфиру аптекарский «Юг» в Новочеркасске улетучился к дьяволу!». (Здесь и далее прим. автора.)

² Слова «в этом месте и в это время» набраны во всех газетах цитеро. «Буквы сего шрифта, – как замечает преисполненный совершенно неуместной поэтичности «Карманный словарь наборщика» (Новочеркасск, 1904), – выглядят на фоне петита или бисерной нонпарели громоздкими жуками, угодившими в муравьиный плен».

под стражу в ресторации Фридриха Брутца на углу Скородумовской и Московской. Заслуживают большего внимания вполне достоверные, хотя и растворенные в бравурной риторике сведения,³ что заведение Жака Мишеля посетил в тот же день (то есть 2 февраля по старому стилю) и сам войсковой атаман; нагрывнув поздно вечером на штабном автомобиле в сопровождении двух адъютантов по гражданской части, окружного квартирмейстера и целой свиты верховых офицеров, весело гарцевавших с оголенными пашками по обе стороны невозмутимого «Руссо-Балта», всполошившего певучим клаксоном всю улицу, он тщательно осмотрел сначала снаружи (обойдя его дважды), а затем изнутри таинственный дом (принадлежавший, впрочем, Обществу взаимных кредитов), спустился в подвал, заглянул во флигель, похвалил Жака Мишеля за прилежное содержание арендованных помещений и уехал, купив у него фламандскую гвизарму для своей оружейной коллекции.

Наутро чиновник особых поручений атаманской канцелярии доставил Жаку Мишелю пакет, в котором находились бакенбарды, снятые с вахмистра в «освежительной камере», и предписание начальника интендантского отдела войскового штаба, обязывающее всех держателей фотографических салонов, действующих на территории Области войска Донского, выполнять следующие требования:

«1. Фотографировать рядовых и приказных казаков, унтер – и обер-офицеров, а равно и штаб-офицеров казачьих войск только с имеющимся у них уставным оружием и в принадлежащих их званию мундирах.

2. Исключить из процедуры фотографирования наклеивание усов, бровей и проч. лицевой растительности, дабы всякий военный чин, действительный или отставной, а также свободный от военной службы казак имел на портрете свой собственный, Богоданный вид.

3. Изъять из употребления в фотографических целях бутафорские либо подлинные вещи, относящиеся к военному быту иноземных армий любых времен.

4. Не изображать посетителей – как военных, так и гражданских – в виду полотен и ширм, рисующих вымышленные баталии и походы, а также любые исторические военные действия, к коим Российская армия не имела касательства.

Всякий фотографический мастер, нарушающий эти требования, будет оштрафован первоначально на сумму в 200 руб. ассигн. в пользу войсковой казны, а при повторном нарушении выдворен за пределы Области войска Донского».

Можно представить, в какое отчаяние повергло это неожиданное предписание изобретательного француза, сумевшего поставить свое дело так, что в городе закрылась, не выдержав с ним конкуренции, старейшая фотография Кикиани и Маслова. (Гигантский бердыш, который они повесили в витрине, и обещание фотографировать в стрелецких кафтанах не прельстили своенравную публику.) Отчаяние побудило Жака Мишеля немедленно рассчитаться с ненавистным ему издателем, беззаботно кружившим неуязвимым газетно-бумажным призраком над Атаманской, 14. Решив исполнить свое намерение, о котором он заявил в аптекарском «Юге», он уже нанял адвокатов, сочинил с ними иск против Кутейникова и изготовился к бою, как вдруг получил записку от есаула гвардии, адъютанта по гражданской части, князя Степана

³ См.: Хроника всех торжественных, ординарных и приватных выездов 23-го наказного атамана войска Донского Павла Ивановича Мищенко на четырехцилиндровом автомобиле Русско-Балтийского завода, подаренном войсковому штабу Великим князем Николаем Николаевичем в ознаменование 5-й годовщины героического кавалерийского рейда казаков на Инкоу. Донская дельта. 1913. № 86. Подпись – «Механик», С. М. Краснов (?).

Андреевича Черкесова. Написанная орешковыми чернилами,⁴ какие тогда уже не водились в канцеляриях, и вложенная в обычный, без войскового герба, конверт, записка была, несомненно, приватной и даже в некоторых местах шутливой, но вместе с тем она не могла не остудить сутяжнический пыл Жака Мишеля.

Адъютант сообщал ему, что войсковое начальство не оставило без внимания возникшее между ним и Кутейниковым недоразумение. «Мне поручено разобраться в этом деле, – писал Черкесов, – однако же без того, чтобы притеснять кого-либо из вас. Речь идет о личном интересе атамана к Вашим таинственным контрам с Кутейниковым. Павел Иванович полагает, что за ними кроется нечто чрезвычайное. Скажу Вам более, он вполне допускает возможность, что Кутейников вовсе не шутит в своих последних объявлениях. Надеюсь, Вы не станете расценивать это мое сообщение Вам как требование не предпринимать никаких шагов против Кутейникова. Упаси Вас Бог так истолковать мои слова! Я хочу лишь дать Вам сугубо житейский и вполне дружеский совет – не раздувать скандала и по возможности относиться терпимо ко всяким причудам г-на издателя, батюшка которого, Ефрем Афанасьевич, служивший у нас каптенармусом, а при Самсонове ведавший аж войсковым арсеналом! был тоже небезызвестный шутник и фанфарон. Представьте себе, запугал однажды лейб-трубачей Государя, ехавших на Кавказ, какими-то невообразимыми разбойниками, которые будто бы не боятся пуль, а только трепещут в мистическом ужасе перед всякими топорами, кои имеют форму священного для них полумесяца; потом вооружил их, шельма, с самым серьезным видом – с расписками и наставлениями – бомбардирскими алебардами, валявшимися в кордегардии Бог знает с каких времен, да еще отписал атаману в отчете: «Сие ободряющее оружие выдано доблестным музыкантам Его Величества как наилучшее, по их разумению, для устрашения злонамеренных горцев», – говорят, что Самсонов смеялся до слез, хоть и отдал прохвоста под трибунал... Надеюсь также, м-е Ларсон, что Вы не усомнитесь в полезности моего совета. Разумеется, Вы вольны пренебречь им и руководствоваться собственными соображениями, в том числе и соображениями коммерческой выгоды. Но если уж речь здесь зашла о выгоде, то я хотел бы заметить Вам, что Вы обязаны в некотором роде нынешним процветанием Вашей фотографии именно г-ну Кутейникову. Шутит он или нет, но он привлек всеобщее внимание к Атаманской, 14, а стало быть, и к Вашему заведению. Публика, и в особенности гражданская, падкая до всякой загадочности, атакует Вас с утра до вечера, и Вы, как я слышал, уже едва справляетесь с заказами. Не думаю, чтобы Вас при таком обороте дела серьезно смущало то обстоятельство, что в обиходе Вашу фотографию стали называть «кутейниковскою», тем более что Вы и сами приложили к тому немало усилий. Я недавно проезжал по Атаманской и видел у Вас в витрине – я не мог ошибиться! – огромный портрет Кутейникова в усах и с моноклем. Более того, у меня есть сведения, что Вы скупили в магазине Сущенкова все книги, выпущенные «Донским арсеналом», и, пользуясь случаем, продаете их своим посетителям по довольно высокой цене, – те экземпляры «Исторических разысканий Евлампия Харитонова о походе казаков на Индию», на которых Ваш ассистент умело подделал дату и которые выдаются за тот самый мифический «дополнительный тираж», якобы уже выпущенный Кутейниковым, – где-то Бог его знает где, в чудодейной незримости, – идут по 15 руб., не так ли? Впрочем, меня это не касается. Как должностное лицо я могу указать Вам только на то, что Вы уже целый месяц нарушаете 4-й пункт предписания начальника интендантского отдела войскового штаба. Имейте в виду, он человек проворный и неумолимый. Даже интерес атамана к Вашей персоне не помешает ему

⁴ При свете солнца и низкой влажности они выцветают быстрее, чем ализариновые; иногда оставляют исследователям лишь золотистые искорки – нетленную, но, увы, уже молчаливую душу слов. Зато в сырости, как утверждают специалисты, эти чернила из отвара цецидий приобретают удивительную стойкость! Один лукавый старик... впрочем, опытный архивариус, помогавший мне советом и делом, сказал как-то раз в беседе за чаем: «Если бы не сырой подвал, – он указал мельхиоровой ложечкой в сторону Атаманской (ныне Советской), где была обнаружена в 1969 г. во время строительных работ записка Черкесова, – то вам, сударь, вероятно, пришлось бы выдумывать сей документ».

выдворить Вас, к примеру, в Воронежскую губернию, где порядки мягче, но климат суровее да и коммерция не столь оживленная, как в нашей благословенной столице!

Марта 6-го с. г. Атамана войска Донского адъютант по гражданской части кн. Черкесов».

2

Строго говоря, фотограф де Ларсон вовсе не нарушал 4-го пункта предписания начальника интендантского отдела войскового штаба, как на то указывал ему адъютант Черкесов. Полотна и ширмы, «рисующие вымышленные баталии и походы, а также любые исторические военные действия, к коим Российская армия не имела касательства», он незамедлительно убрал. И заменил их другими. Они являли собою, как пишет журнал «Фотографический курень» (№ 4, 1912), «нечто вроде постраничных иллюстраций к нелепейшим «Историческим разысканиям Евлампия Харитонов» о походе казаков на Индию», кои выпустил в прошлом году в своем скандально известном, хотя и лопнувшем как мыльный пузырь «Донском арсенале» г-н Кутейников». Именно эти ширмы и имел в виду адъютант, запугивая француза колючими январями и знойными комариными июлями Воронежской губернии, скучающей в глубине континента. Однако же дело обстояло так, что использование этих ширм, которые приносили де Ларсону фантастический доход («Шутка ли сказать, – писал язвительный корреспондент «Фотографического куреня», – обыватели выстраиваются в очередь и платят, по десяти рублей только за то, чтобы просунуть свои физиономии в овальные прорезы и стать таким образом воображаемыми участниками каких-то невозможных в истории и по виду довольно разнузданных сцен, вроде переправы казаков через Инд и прочей глупости! Куда же смотрит наше войсковое начальство, которое якобы так печется о пуританстве в фотографическом деле, издавая при этом, к слову сказать, уморительные указы!»), не противоречило 4-му пункту предписания. О походе казаков на Индию нельзя было сказать, что он является вымышленным, так же как нельзя было отрицать, что в нем принимало участие сорок донских полков – двадцать три тысячи присягнувших на верность российскому престолу казаков и казачьих офицеров. Поход, предпринятый по приказу императора Павла Петровича, которым вдруг овладела в неистребимой сырости Михайловского замка, окутанного петербургскими выюгами, пылкая, согревающая его мечта завоевать колонию Англии, щедро осыпанную лучами солнца, огнепалимую Индию, начался 27 февраля 1801 года. В два часа пополудни, после того как в войсковом Воскресенском соборе Старого Черкаска была отслужена торжественная литургия, а затем прочитан на Ратной площади у церкви Преображения напутственный молебен, авангард из тринадцати полков, возглавляемый походным атаманом генералом Матвеем Платовым, двинулся на восток. За ним, выдержав первоначальную дистанцию в десять верст, вышли артиллерийские полки, потянулись обозы, нагруженные провиантом, свинцом, фуражом, порохом, ядрами, стругами, и, наконец, уже в сумерках пределы города покинул конный арьергард...

Жак Мишель де Ларсон, как иностранец, да к тому же еще человек гражданский, вовсе не обязан был знать, что поход казаков на Индию завершился утром 24 марта того же года в каком-то богом забытом хуторе на юго-востоке Оренбургской губернии. В качестве оправдательного документа, подтверждающего историческую достоверность сцен, изображенных на его ширмах, он мог выставить (да и выставлял в буквальном смысле – прямо в витрине) книгу, выпущенную Кутейниковым, который отважился заявить в предисловии, что он несет «полную ответственность за это издание, так как автор, отставной подъесаул Евлампий Макарович Харитонов,⁵ скончался в станице Покровской, не успев подписать формального согласия на публикацию своих разысканий».

⁵ В списках отставных обер-офицеров войска Донского, получавших пенсион в 1900–1911 гг., Е. М. Харитонов нет.

Француз не обязан был знать и того, что источники, которые цитировались в этом сочинении, были (на взгляд любого – даже не очень-то разборчивого – профессора) в высшей степени сомнительными: какие-то «бутанские рукописи» начала XIX столетия, якобы переведенные автором с языка бхотия (тибето-бирманская группа), всевозможные «записки» разных языков путешественников, колесивших в 1801 году по Азии и видевших казачьи дружины кто в Персии, кто на склонах Каракорума, «походные дневники старшин» и прочие «свидетельства», неизвестно как и где добытые любознательным подъяесаулом. Жаку Мишелю достаточно было того, что в «Разысканиях», которые были написаны, как уверял издатель, «на основании новых и весьма достоверных сведений», утверждалось, будто «донской Бонапарт» – так называл Харитонов генерала Матвея Платова – довел казачьи полки до заснеженных Гималаев, а не до оренбургских степей, «как то считалось ранее». «Весь поход, – говорилось на 29-й странице, – завершился блестяще – в полном соответствии с замыслом Императора Павла, который вовсе не думал завоевывать Индию, а только хотел казачьими шашками пригрозить с Гималайских вершин зазнавшейся Англии». (На ширме Жака Мишеля – как видно из иллюстрации в «Фотографическом курене» – это изображалось так: казаки, сбившись в кучку на острие горного пика, окутанного облаками, браво размахивают шашками, палят из фузей и штуцеров, а на них с ужасом взирает, высунувшись по пояс из окошка Букингемского дворца, Георг III.) Далее, на страницах 44–53, Евлампий Макарович подробно рассказывает о том, как какой-то «седой старшина в епанче» уговорил атамана Платова не поворачивать полки назад по повелению нового императора Александра Павловича, а выполнять приказ – предыдущего, скоростижно скончавшегося в ночь с 11 на 12 марта Павла Петровича. «Потому что смерть приказавшего, – сказал седой старшина, – не отменяет его приказа. И в этом, ваше превосходительство, весь смысл воинской доблести». Спустя две страницы отставной подъяесаул, видимо спохватившись, сообразив, что этого седого старшину за таковые глаголы генерал Платов скорее всего одел бы в кандалы, выдвигает на всякий случай и другую версию. Авангард (теперь уже только авангард) из тринадцати полков продолжил поход на Индию потому, что гонец от генерала Орлова, командовавшего арьергардом и получившего пакет из Петербурга, не доскакал до генерала Платова, «уже зело углубившегося в восточные владения России», – погиб в степи. И доблестный генерал Платов так и не узнал, что юный Александр, «жалуя казаков отчими домами», повелевает прекратить поход на лучезарную Индию, затеянный его родителем...

Словом, весь смысл книги сводился к тому, что поход – по мнению немногочисленных его тогдашних исследователей, самый бесславный в истории войска Донского, – был блестящим и славным. Конечно же ничего дурного не было в этом стремлении отставного подъяесаула представить поход вопреки всему в лучшем виде. Быть может, Евлампий Макарович, если он действительно жил на свете, если его не выдумал г-н Кутейников, сам участвовал в этом походе (Кутейников пишет в предисловии, что он умер в возрасте 132 лет), и он, быть может, всю свою долгую жизнь таил обиду и на императора Павла, пославшего его в этот (впоследствии всеми забытый) экспедицион, и на императора Александра, не давшего ему помахать шашкой на гималайских вершинах. И от обиды выдумал книгу – написал ее перед смертью, сидя с пером, в очочках и бурках, под крышей какого-нибудь древнего куренька. Так обстояло дело или иначе, ясно одно: сочинение подъяесаула скорее всего осталось бы незамеченным. В отчетах Общества распространения полезных книг в Области войска Донского за 1911 год оно отнесено к разряду «частных исторических экскурсов отставных военных чинов, кои на сегодняшний день не пользуются спросом». Однако недоразумение, возникшее между издателем и фотографом, или, как выражались газетчики, «дело о раздвоении Атаманской, 14» (о том, что оно негласно

Никаких сведений о нем не удалось обнаружить и в других источниках, так же как и об авторах майских брошюр «Донского арсенала»: Степане Харузине («Великие тамбурмажоры») и Павле Туркине («Тайны жалонёрского искусства»).

расследуется гражданским адъютантом, знал, разумеется, весь город), вывело «Исторические разыскания Евлампия Харитонов...» спустя несколько месяцев и на целых три года в разряд книг «наиболее читаемых, хотя и малополезных».

3

В июле 1912 года новочеркасский корреспондент балабановского «Юга», ссылаясь на «весьма осведомленное лицо из войсковой канцелярии», сообщил, что адъютант Черкесов, якобы имеющий на руках сенсационные факты, связанные с Атаманской, 14, готовит специальный рапорт атаману по этому делу. «Не исключено, – говорилось в заметке, – что вскоре мы получим от того же лица кое-какие сведения о содержании рапорта и узнаем таким образом, каково живет г-ну Кутейникову в том запредельном мире, откуда он нам посылает свои шутовские весточки и баснословные тиражи».

Это было последнее печатное упоминание о донском книгоиздателе С. Е. Кутейникове.

Никакого специального рапорта атаману адъютант Черкесов, судя по всему, не писал – во всяком случае, обнаружить этот рапорт или хотя бы найти сообщения о нем более достоверные, нежели в балабановском «Юге», не удалось, – и потому последним рукописным источником, содержащим сведения о Кутейникове, можно считать датированное 20 августа 1912 года письмо Черкесова к дочери, жившей тогда в Петербурге в гостинице Главного управления казачьих войск на Караванной.⁶ За исключением половины первой и двух последних страниц, оно посвящено издателю, но так как на пяти страницах князь сообщает уже известные факты, целесообразно будет процитировать его с середины шестой:

«... Что до меня, Анята, то я не нахожу здесь ничего, кроме философических шалостей г-на Кутейникова, который, как мне стало известно, проповедует повсюду и в разном виде, добравшись даже до газет, довольно странные воззрения на феномен времени. Он полагает, что времени как такового не существует вовсе. Пытался в этом убедить и меня (я разговаривал с ним еще весной по телефону: сам телефонировал мне в штаб). То есть, Анята, он не то чтобы отрицает время, а говорит, что не существует прошлого и будущего, а есть только одно неделимое и вечное Настоящее, или, как он излагает, Настоящее настоящего, Настоящее прошлого и Настоящее будущего. Между ними, по его разумению, не существует решительно никакой разницы, в силу чего не только все вещи, но и люди, события, действия обладают Божественным свойством неисчезновенности. Все есть, как есть, и все есть всегда: никогда не начинало быть, пребывало вечно и не пройдет во веки веков. Когда он пытался внушить эту мысль редактору «Епархиальных ведомостей» (он и там хотел поместить свое нашумевшее объявление, которое я тебе посылаю), ему указали на Книгу Бытия, а потом на дверь... Да вот и я думаю, Анята, разве не было Начала, разве не было Сотворения мира и разве не будет Конца?.. Но послушай, что говорит далее этот г-н Кутейников: несовершенный человеческий разум, уязвленный бессмысленным страхом смерти и охваченный непрерывной текучестью чувств, возомнил, что он движется в океане этого неизбывного Настоящего, да еще в некотором направлении – от прошлого к будущему. Наподобие тусклого светильника он, т. е. разум, высвечивает ничтожное пятнышко света на поверхности необозримого океана Времени и не видит весь *круг* своего бытия, составленный из мириад этих светящихся пятнышек, слитых воедино. Мрак неведения скрывает от человека восхитительную полноту его бесконечной и

⁶ Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность и желаю всяческих благ и поныне здравствующей княжне Анне Степановне Черкесовой, приславшей мне из Люксембурга (где она содержит крохотный и трогательный музей стеклянных бомбилаток!) фотокопию этого письма. А также искренне благодарю ее бывш. гувернантку Екатерину Павловну Мандрыкину, которая сочла возможным поручиться за меня в письме к княжне, сообщив ей, что я в своем «частном и несколько мечтательном изыскании о каком-то старинном издателе» вовсе не преследую «побочной цели как-нибудь очернить или представить превратно деятельность Степана Андреевича на посту гражданского адъютанта».

безначальной жизни, и оттого он полагает, что жалкое пятнышко света – драгоценное здесь-и-теперь – и есть его печально-желанный удел, что только в нем, лучезарном и зыбком, исчезающем постоянно, он существует весь целиком. Эта безумная вера в мимолетность настоящего мгновения и есть, по словам Кутейникова, наказание Господа за грехопадение прародителей. Но Господь милосерден, Он наделяет некоторых Своих детей первоначальным зрением. И вот, Анюта, представь себе, Кутейников утверждает, что он не только исполнился Божественного видения мира, развернутого в вечном Настоящем, но и обрел упоительную способность находиться по собственному разумению и с ясным сознанием как во всем *круге* своего бытия, так и в любой его отдельно взятой точке. Он уверял меня, что он разговаривает со мною по телефону из 1915 года и что только теперь, или тогда? или как тут еще сказать, Анюта? словом, там, в 1915 году, он закрывает свое издательство, освобождая французу Атаманскую, 14. Когда же я ему сказал, что здесь, у нас, в 1912 году француз собирается с ним судиться, он ответил равнодушно:

– Если вы ему помешаете, князь, вы сделаете богоугодное дело. Этого суда не должно быть в извечном миропорядке. Так же как и французского заведения на Атаманской, 14 не должно быть до 1915 года. А то, что оно у вас там существует, – это досадное недоразумение. Когда-нибудь, князь, всё станет на свои места.

Он говорил мне, Анюта, что он переживает в своей жизни одновременно всё – и тяжелое ранение под ключицу на какой-то великой войне, за-ради которой он теперь там бросает свое издательство, и первые младенческие шаги по лоснящемуся паркету в доме своего батюшки на Кадетской, и предсмертные судороги в Люксембурге, где он будет, или, выражаясь его невозможным языком, *есть* похоронен в 1927 году. Да еще – ты только подумай – рядом со мною! Говорит, будто мы будем жить с тобой в Люксембурге и будто бы там я умру, и даже не умру своей смертью, а эдак вычурно застрелюсь – на публике, в ухо – от тоски по нашим донским раздольям. И что же это мы будем искать там, в Великом Герцогстве? А? Воевать его будем? Или выйдет какое-нибудь назначение? Что же, Анюта, поедем. А затоскуем, напишем рапорт атаману – так, мол, и так, возвращай нас на Дон... Что, нагнал я на тебя грусти, петербургская стрекоза? Да ты не слушай меня, старого дурака, шучу я. Потому как скучаю. Лето уже на исходе. Скоро ли ты приедешь...»

4

Из окон дома архивариуса на бывшей Кавказской улице хорошо видна Александровская церковь. В те дни, когда старик забывает ходить на работу, а такое с ним происходит часто, ибо с некоторых пор он перестал ощущать, как он сам выражается, «изменчивость пейзажей по берегам временного потока», то есть может доплыть нечувствительно, с каким-нибудь майским деньком в голове до середины июля, он сидит у окна, смотрит на Александровскую церковь, мечтает: не отвяжет ли какой-нибудь хлопотливый ангел воздушного змея, зацепившегося за крест; не упорхнет ли вслед за летучими облаками сиреневый куст, выпроставшийся из-под купола. Хорошо, если исследователь свел знакомство с архивариусом именно в такие, слитые для него воедино, неосязаемые дни. Память Кузьмы Ильича благодаря неизменному впечатлению (ангелы праздны, а куст неподвижен) оживляется до чрезвычайности. Он может вспомнить неожиданно какой-нибудь редкий источник, исполненный сведений о предмете, который казался тебе столь зыбким, столь безнадежно забытым, а иногда и просто эфемерным, что ты готов был уже отказаться от притязаний на сладкое право быть его первым исследователем; может указать безошибочно номер архивной описи, включающей некую единицу хранения – вожделенный документ, без которого шатки и крайне сомнительны все твои построения и который являлся тебе лишь в осторожных фантазиях. Плата за эти поистине неоценимые услуги Кузьмы Ильича невелика – упомянуть его в примечаниях, поблагодарить в скобках, сослаться

на него в комментариях. Многие исследователи обещают ему это с большой горячностью. Но потом, как правило, бессовестно обманывают старика. Ни в статьях, ни в обширных докладах (иногда целиком построенных на драгоценных сведениях, извлеченных в тягучие сонные дни из его ободрившейся памяти) не уделяют ему ни единого слова. Кузьма Ильич конечно же не знает об этом. А если бы и узнал, то скорее всего не обиделся бы на забывчивых щелкоперов. Во всяком случае, он не стал бы скандалить с ними так увлеченно и пылко, как он скандалит с гонцами из архива, которых к нему посылают время от времени, чтобы как-нибудь – часто обманом – залучить его на работу.

– Да вы, сударь, в своем ли уме! – кричит он солидному усачу в ядовито-оранжевой строительной каске, представившемуся прорабом. – Вы что же это, за дурака меня держите, а?! Бумаги... он раскопал бумаги! Да я вас сразу узнал. Вы из отдела копирования. Ваша фамилия Петряков!

– Не Петряков. Петрянов. – Усач смущенно снимает каску. – Надо бы на работу, Кузьма Ильич. Работать. Ра-бо-тать, – выговаривает он отчетливо, как будто бы изъясняется с иностранцем.

– Вот то-то и наработали, – отзывается архивариус. – Небось бульдозером воротили?!

– Это как же... то есть... Кузьма Ильич?

– Молчать! Молчать! Ваш брат всегда норовит – бульдозером. А бумага вещь нежная, прихотливая... Что, если архив генерала Богаевского! а? Он, кажется, жил одно время на Свердлова, то бишь, дьявол вас разорви! на Горбатой... Какой вы там дом ломали?.. Нумер! Нумер скажите! – восклицает он возбужденно. И уже невозможно понять – то ли Кузьма Ильич доигрывает (в отместку? из баловства?) прерванный им же спектакль, то ли действительно каким-то странным образом принимает все ж таки за прораба уже опознанного было гонца.

Гонец, предмет его постоянной бдительности и веселой ненависти, чудится ему во всяком, кто появляется в доме без предупреждения. Помнится, при первой нашей встрече он как-то чересчур уж бодро соскочил со стула, подбежал ко мне и, нацелив оба указательных пальца в мою бороду, радостно закричал:

– Приклеили! Приклеили! А я вас сразу узнал. Вы Соколов! Вентиляторщик! Как вам не стыдно...

Спустя две недели, когда наша работа с Кузьмой Ильичом была в самом разгаре, когда он, пребывая неотлучно у излюбленного им окна (с хрустальным изломанным лучиком трещины в наружном стекле), уже цитировал с ходу необходимые мне материалы из старорежимных газет, припоминая даже, каким кеглем они были набраны, вентиляторщик – то есть, конечно, не вентиляторщик, а инженер технической службы архива, – по фамилии Соколенко действительно заявился. Его отчаянный вид и намеренно путаное сообщение о какой-то ужасной аварии (то ли случился обвал? то ли прорвало трубы?), якобы погубившей ценные документы, не произвели на Кузьму Ильича ни малейшего впечатления. Архивариус был далеко. Так далеко, что здесь, в настоящем, где еще оставалась способная видеть и слышать часть его существа, его могло потревожить лишь резкое изменение в той неподвижной, привычной, взятой в двойную рамку арочного окна картине, которую он созерцал беспрерывно. Но там, слава богу, все выглядело так же, как в 1912 году. Или, по крайней мере, все оставалось на своих местах – и каменные, выстроенные еще платовскими старшинами угрюмые домики с плоскими крышами, поднимающиеся ступенями от Кавказской вдоль ухабистой Красной Горки, беспорядочно вымощенной булыжником; и венчающая эту Горку южная арка Атаманского сада, выложенная из ракушечника, потемневшая и осевшая вровень с оградой; и исполненная величия, хотя и обросшая травами, облепленная кустарником церковь Александра Невского, возвышающаяся над ротондами, смотровыми курганами, павильонами – и над всеми строениями Атаманского сада, где, должно быть, гуляли в весенние сумерки, под звуки Уланской мазурки,

среди лип и каштанов, озаряемых вспышками пестрых салютов, книгоиздатель С. Е. Кутейников и фотограф Ж. М. де Ларсон...

– Нет-нет, – замечает рассеянно архивариус, – кто-то один из них. Второго положительно не существовало. Господина Кутейникова выдумал Жак Мишель для коммерческих целей... или господин Кутейников – Жака Мишеля. А впрочем, не знаю. Похоже, что не было ни того ни другого. Напишите-ка еще разок в Люксембург княжне Черкесовой да не забудьте спросить: не ее ли батюшка давал объявления в газетах? И не она ли разыгрывала француза на Атаманской, 14?.. Как там писал вахмистр... хорошенькая маркитантка? Все может быть. Все изменчиво. Никакого извечного миропорядка нет. Лжет Кутейников...

Помню, при этих словах Кузьма Ильич поднялся со стула, отшатнулся от окна и, взглянув на меня тем злобно-веселым, торжествующим взглядом, каким он смотрел на злосчастных гонцов, прокричал:

– Торопитесь! Торопитесь! Княжне, должно быть, за девяносто! Смотрите, как бы не опередил вас проворный гонец от ангела Азраила! А ко мне он... вон он, вон он! – уже спешит! Спускается по Красной Горке...

Почему великий тамбурмажор ненавидел путешествия Публичная лекция, читанная в зимней столице королевства Бутан во время муссонных дождей

Да благоденствует древняя Пунакха, ее окрестности и все царство Друк-Юла, пока стоят Гималаи!

Дамы и господа!

Великих тамбурмажоров было всего четверо. Принято считать, что все они итальянцы. Хотя один из них, Сальвадор Романо, граф Сальвадор Антонович, не только родился в России, но и, будучи ярким противником всяких вояжей, никогда не покидал ее пределов без чрезвычайной надобности. Его первый и, по всей вероятности, наиболее осведомленный биограф Степан Харузин настойчиво подчеркивает, что даже из своего излюбленного имения на Юге России, в Малом Мишкине, где кроме его небольшой усадьбы, заброшенной дачи атамана Платова и дюжины накрепко вросших в пологий холм куреней, обретался еще выстроенный на его пожертвование, предусмотрительно обнесенный высокой стеной из пиленого ракушечника приют умалишенных – затейливой архитектуры дом, густо обросший с фасада дикой лозой и кучерявым плющом, он выезжал крайне редко. В Венеции, на родине Антонио Романо, своего «непоседливого батюшки» (так называл его сам Сальвадор), он побывал лишь однажды, незадолго до смерти, в 1900 году. Вернувшись домой – зачем-то окольным путем, на пароходе «Санкт-Петербург», ходившем в Россию через Атлантический океан с трехдневной остановкой в Гавре, – он заявил в коротком интервью корреспонденту «Южного телеграфа», что город, «возросший по прихоти деятельного разума на островах лагуны», произвел на него «удручающее впечатление своей назойливой красотой» и что если он и мечтает о чем-нибудь (корреспондент стал расспрашивать его, девяностошестилетнего старика, о мечтах!), так это о том, чтобы больше не ездить в Венецию... в Рим, в Петербург, в Стамбул... «И куда бы то ни было, сударь. Ибо склонность к путешествиям – порочна!» «После этих слов, – пишет удивленный корреспондент, – он, как бы салютуя, вдруг вскинул к полям цилиндра необычайной длины указательный палец, украшенный ослепительным солитером, нетерпеливо махнул перчаткой млажавому кучеру, и его легонький фаэтон, запряженный парой рыжих ганноверанов, быстро помчался по Михайловской площади Новочеркаска в сторону почтового тракта...»

О своей ненависти к путешествиям и путешественникам Сальвадор говорил почти во всех интервью, и с особенной пылкостью, с какой-то грозной настойчивостью, – «прямо-таки с апостольским жаром», замечает Харузин, – в тех, которые он давал летом 1898 года на Всемирном состязании тамбурмажоров в Фонтенбло. На этом поистине историческом состязании – самом продолжительном в XIX веке и по числу участников не превзойденном до нынешних дней (2300 тамбурмажоров из 49 государств, включая Заскар, Бутан и Мустанг, оспаривали первенство) – Сальвадор, как известно, последний раз в жизни облачился в расшитый золотой канителью, щедро украшенный искрящимися галунами мундир фельдфебеля музыкальной команды и взял в руки тамбурмажорский жезл. Французские газеты писали потом, что он вращал и подбрасывал его, маршируя в течение десяти часов на плацу с отрядом неумных барабанщиков и ротой неумомимых гренадеров, уже с нечеловеческой ловкостью – «с обезьяньей ловкостью», как выразился более определенно корреспондент бостонской спиритической газеты Herald of Truth: «Я не видел зрелища более восхитительного и ужасающего в своей непостижимости, – писал американец, – чем то, которое явила нам в Фонтенбло эта яростная и человеколюбивая горилла в позументах, воздвигнувшая где-то в сарматских степях России сумасшедший дом для военных музыкантов. Полагаю, что именно в этом доме, среди свихнувшихся валторнистов, флейтистов и трубачей, Сальвадор и закончит свои дни, ибо искусство

его уже давно достигло тех лучезарных высот, выше которых простирается сфера чистейшего идиотизма!»

Этот велеречивый корреспондент из Бостона был, кажется, единственным из всех газетчиков, кто сумел взять интервью у Сальвадора сразу же после его десятичасового выступления на плацу. Во всяком случае, французские репортеры писали потом в свое оправдание, что нужно было иметь такие плечи, как у «*le spirite de Boston*»,⁷ и обладать закалкой жителя Нового Света, чтобы, во-первых, протиснуться к Сальвадору сквозь толпу почитателей и частокол из двухметровых гренадеров, а во-вторых, стерпеть неучтивость маломишкинского камердинера – скуластого горца в малиновом казакине с огромными эполетами, сопровождавшего своего прославленного господина в поездках и на предыдущие состязания и позволявшего себе на этот раз производить при виде знакомых ему репортеров уже совершенно оскорбительные телодвижения и звуки. Преодолев на зависть субтильным французам эти «*les obstacles fasheux*»⁸ и оказавшись рядом с Сальвадором на маленьком островке, омываемом шумной, подвижной толпой, то и дело накатывавшейся ритмичными волнами на широкие спины и крепкие ягодицы невозмутимых гренадеров, американец задал великому тамбурмажору вопрос, с которым корреспонденты *Herald of Truth* обращались в тот год беспрестанно ко всем выдающимся людям, не исключая банкиров и знаменитых лореток: «*Do you believe in astral travels of spirit?*»⁹ Сальвадор, хорошо владевший английским – «не хуже, чем русским, тибетским и итальянским», утверждает Харузин, – сумел, очевидно, расслышать в разноязыком гомоне только словечко «*travels*». Но этого-то как раз и было достаточно, чтобы желчный и своенравный старик, каким предстает Сальвадор в сочинениях авторитетных биографов и всевозможных воспоминателей, – в 1910 году даже его необузданный горец, не отличавшийся многословием и страстью к сочинительству, выпустил в Санкт-Петербурге увесистый томик своих беспорядочных воспоминаний, озаглавленных несколько фамильярно для бывшего графского слуги: «Мой бешеный Сальвадор», – чтобы старик, тяжело переживавший всякий выезд из дома, да к тому же еще возбужденный всеобщим к нему вниманием, повергся в то болезненное состояние духа, которое Харузин, повинувшись правилам исследовательской деликатности, назвал «апостольским жаром».

– Что?! Что?! Путешествия?! – закричал Сальвадор по-английски, подняв над головою жезл. – Да будут прокляты путешествующие! И да сгинут они с лица земли! Ибо они внушают нам, что мир бесконечно разнообразен! Они, уязвленные жаждой странствий, побуждают нас верить в ничтожество духа и невозможность покоя!.. Я проклинаю вас, путешествующие на верблюдах! на слонах! на ослах! на воздушных шарах!..

* * *

Боже мой, сколько лет я не был в Бутане! Сколько воды излилось с гималайских небес на царство Друк-Юла с тех пор, как я покинул его! Впрочем, здесь не многое изменилось. Подданные друк-гьялпо – да приумножатся дни его в этом мире! – по-прежнему носят пестрые кхо, перехваченные широкими поясами и отороченные парчой; так же улыбчивы и приветливы монахи в пурпурных тогах; неразговорчивы и медлительны горделивые воины гьялпо в шелковых длинных халатах, перетянутых накрест шарфами изумительной белизны! Все с тем же неумолкаемым рокотом течет по наклонной долине бурноводная Мачу; как и прежде загадочны и торжественны каменные чхортены по ее берегам; и все так же трепещут на башнях дзонга молитвенные флаги во славу просветленного... О, Бутан, Бутан!..

⁷ Бостонского спирита (*фр.*).

⁸ Огорчительные препятствия (*фр.*).

⁹ Верите ли вы в астральные путешествия духа? (*англ.*)

Мачу еще не вышла из берегов: муссонные дожди только начались. Однако весь королевский двор, множество монахов, тримптон и дзонгд Пунакхи уже переселились в летнюю столицу. Уехал в Тхимпху и король. Очень жаль! Жаль, что его величество друк-гьялпо не соизволил – хотя бы еще на день! – задержаться в Пунакхе. Его присутствие на лекции наверняка привлекло бы в дзонг всю окрестную знать – влиятельных треба и почтеннейших рамджамов. Накануне я пытался уговорить одного из королевских секретарей, чтобы он убедил монарха посетить лекцию. Но молодой вельможа, отлично говоривший по-русски, был непреклонен. «Мачу через несколько дней превратится в ревуший поток, – сказал он, – а дорогу размочит не сегодня завтра. Я не могу допустить, милостивый государь, чтобы Его Величество король-дракон слушал здесь звуки ваших речей до окончания муссона, тогда как у него есть и более важные дела в Благословенной Крепости Веры...» Разумеется, я не стал выказывать королевскому секретарю своего неудовольствия, тем более что он тут же, без всякого перехода, но и без малейшей принужденности, как это умеют делать только бутанские придворные, чья обаятельность ничуть не уступает чудовищному высокомерию, сменил суровое выражение лица на самую теплую улыбку и вручил мне с почтительным полупоклоном долгожданный кашаг, скрепленный печатью Его Величества с изображением молнии и двух драконов, в котором говорилось, что мне, «ученому человеку с Запада», дозволяется изложить в дзонге Пунакха, «пока будут шуметь в долинах Друк-Юла большие дожди», свои размышления о любом предмете. На деревенского рамджаму, замещающего на время муссона тримптона зимней столицы, бумага произвела неотразимое впечатление. Старик долго охал и цокал языком, рассматривая ее, а затем объявил мне с чрезмерной торжественностью, что он предоставляет в мое распоряжение самую пышную залу – в южной части крепости. При этом он стал заверять меня, впадая в необычайное воодушевление, что в этой гигантской зале с оранжевыми потолками и целым лесом разноцветных колонн все способствует углубленному размышлению – и огромные статуи будд, покрытые золотом, и яркие фрески, и тибетские вазы, и воспроизведенный сто восемь тысяч раз на вазах, колоннах и статуях текст священной мантры: «Ом мани падме хум» («Благословенно будь, о ты, сокровище лотоса»). «Я позабочусь, – сказал он, – чтобы ни одна душа не проникла в залу, пока вы там будете размышлять, досточтимый!» Мне стоило немалых усилий объяснить рамджаму, что я вовсе не намерен размышлять в одиночестве и что я вообще не намерен размышлять. В силу того, что в его тщательно выбранной и бугристой, как перезревший гранат, голове безнадежно отсутствовали некоторые понятия, а в моем тибетском – некоторые слова, я никак не мог преодолеть того тягостного и непростительного, хотя и отчасти вынужденного косноязычия, которое с каждой минутой утомляло меня все больше и больше и приводило в замешательство старого рамджаму, уже начинавшего сомневаться в моей учености. Мне не хватало на первый взгляд пустячка – слова «лекция» по-тибетски. Нет, конечно, латинские «lectio» – чтение и «lectito» – читать часто, усердно, внимательно – вполне поддаются буквальному переводу на сино-тибетские языки, как, впрочем, и «lector» – читатель, чтец. Но тибетского слова, которое обозначало бы *акт публичного выступления на какую-либо тему*, я никак не мог отыскать в своей памяти. В конце концов, уже совершенно отчаявшись, я сказал рамджаму по-тибетски,

наперед осознавая всю нелепость и неуклюжесть наугад построенной фразы: «Я буду произносить слова, которые нужно слушать множеством чутких ушей, исполненных пустотою усердия». К моему изумлению, рамджам просиял. «О да! О да!» – воскликнул он...

– Проклинаю и вас, – кричал Сальвадор иступленно, – вас, карабкающихся по горным склонам, подобно вьючным животным! И вас, путешествующих на пароходах, в экспрессах и в экипажах! Я говорю вам: противны Единому ваши жалкие устремления к неведомому! И говорю вам: не отыщете вы неведомого во веки веков, куда бы ни перемещали вы свои непоседливые задницы и алчные глаза, опьяненные зрелищем форм!..

Приступ грозного и темного словоизвержения, писали потом газеты, длился не менее часа. Не менее часа вещал Сальвадор неистово о порочности путешествий. Но этим не ограничился. В течение двух недель, как утверждает парижская *Siecle*, он разъезжал по Фонтенбло на «Штевере», купленном им еще по пути во Францию (горцу в малиновом казакине до того полюбилась самодвижущаяся карета, что он, по его же признанию в мемуарах, жестоко избил на публике графского кучера, когда тот в простоте душевной попытался занять его место за рулевым колесом), и повсюду, собирая толпы зевак и репортеров, поносил путешествия и путешественников.

Те из репортеров, которые знали кое-что об отце Сальвадора, прославившемся в начале XIX века именно благодаря своей страсти к путешествиям и блестящим географическим трудам, искренне удивлялись мрачной ненависти Сальвадора ко всякого рода странствиям – ненависти, доходившей порою, как это было в Фонтенбло, до пароксизмов безумия. Впрочем, некоторые журналисты, более осведомленные или менее поверхностные в суждениях, высказывали предположение, что Сальвадор на самом деле ненавидел вовсе не путешествия, а как раз-таки своего родителя, Антонио Умберто Романо, «ученого венецианца», как пишет о нем Харузин, военного инженера, «члена многих академий», состоявшего восемь лет в русской службе – сначала в свите императора Павла Петровича, а затем – Александра Павловича. Последний произвел его в чин подполковника Генерального штаба незадолго до того, как Антонио (накануне Аустерлица) неожиданно исчез, чтобы затем объявиться как ни в чем не бывало в штабе Наполеона. Харузин со свойственной ему прямою и пылкой верой в непогрешимость выдающихся личностей решительно отвергает «досужие домыслы казенных борзописцев» (имеются в виду статьи в австрийской прессе и небольшая заметка в «Санкт-Петербургских ведомостях») о том, что отец Сальвадора захватил с собою при этом кое-какие штабные бумаги, кое-какие чертежи, а главное, составленные им же оригинальные проекты полевых и долговременных фортификаций русской армии.

По заверению Харузина, основанному не столько на фактах, сколько на его собственном запальчивом благонравии, Антонио перешел к Наполеону «с пустыми руками» и исключительно потому, что «служба французской короне давала в то время больше возможности путешествовать – не только по странам Христианского мира, но и по отдаленным и отрезанным от европейской цивилизации, не посвященным в новейшие достижения наук, хотя и озаренным в достатке светом учения царевича Гаутамы, гималайским государствам», куда Антонио, присягнув на верность Бонапарту, тотчас же и отправился в качестве секретного агента французской империи с целью исследовать подробно высокогорные княжества Заскар и Мустанг и по возможности проникнуть в королевство Бутан.

В Бутане Антонио неожиданно попался, хотя и продумал он, как ему представлялось, все до мелочей. Выдавая себя за паломника, он прятал в посохе термометр (по ночам, запалив костер, поднимавшийся ровным, почти неподвижным столбом к гималайским, белесым от звезд небесам, «ученый венецианец» опускал прибор в кипяток, определяя таким способом высоту над уровнем моря караванных дорог и пограничных перевалов), в молитвенной мельнице хранил записные книжки, в ритуальных сосудах – чернила и перья, а под простор-

ной тибетской чубой – чертежную готовальню и штуцер. Разоблачил агента один наблюдательный странник, сосчитавший приметливым глазом количество костяшек на молитвенных четках Антонио. Их было сто вместо ста восьми. О том, что это число священо в буддийском мире, Антонио, вероятно, не подозревал, как не подозревал он и того, что странник, перед которым он начал было ломать комедию, изображая внезапный приступ удушья и надеясь в удобный момент (дело происходило в заброшенном горном бунгало близ бутанско-сиккимской границы) исправить свою оплошность при помощи штуцера, был кавалером ордена Подвязки, офицером английской Ост-Индской компании, выполнявшим, в свою очередь, секретные поручения короля Георга, который не меньше, а может быть, даже и больше, чем Наполеон, желал иметь подробные карты маленьких и непростительно беззаботных монархий, счастливо затерявшихся в солнечном поднебесье среди гималайских вершин.

Между двумя агентами после короткого единоборства, в котором верх одержал англичанин, – из-под непальских одежд бритоголового странника, обвешанного амулетами, вдруг выглянул, к изумлению Антонио, чей устаревший за время странствий дульнозарядный штуцер мгновенно был выбит из рук точным ударом ноги, граненый ствол револьвера Коллера, – произошел, по-видимому, довольно бурный и откровенный разговор. Состоялась, вероятно, в горном бунгало и дружеская, если не сказать государственная, сделка. Иначе как объяснить тот факт, что обширные сведения о маленьких, прозябавших в блаженной беспечности королевствах Антонио доставил, минуя штаб Наполеона, прямо в Лондон – одному из тайных королевских комиссаров по делам Индии, который, между прочим, отрекомендовал венецианца на аудиенции у Георга III как человека мужественного, ученого и вместе с тем преданного всем сердцем интересам британской короны.

Произведенный в скором времени в чин инженер-полковника королевских войск, Антонио вновь отправился путешествовать, на сей раз по диковинным, разнообразно цветущим, исполненным всяческих колдунов и идолов землям, коими Англия уже владела и коими только намеревалась завладеть при помощи дерзкого флота, бывалых карабинеров, вкрадчивых дипломатов и неутомимых агентов. Где только не побывал Антонио Умберто Романо! И в тропиках Южной Америки, и в Новой Зеландии, и в Австралии, и на бесчисленных островах трех океанов, и конечно же в Африке.

Но вернемся, дамы и господа, к России.

Российская корона, как и французская с английской, поощряла по мере сил своих склонность Антонио к перемене мест. «За восемь лет безупречной службы нашему Отечеству, – пишет Харузин, – отец Сальвадора и двух месяцев кряду не прожил в Петербурге. Подвергая себя опасностям, часто рискуя жизнью, он много и яростно путешествовал – по европейской Турции, Греции, Албании, Далмации, Истрии, Польше, Германии, особенно же – по России, в которой проехал 30 000 верст, исполняя различные поручения русского правительства».

И вот благодаря одному из таких поручений (чтобы его измыслить для неутомонного венецианца, самодержцу Александру пришлось долго в унылый послеобеденный час водить по меркаторской карте империи увесистой лупой на длинной самшитовой ручке, вздувая ею то устье Днепра, то зачем-то заливы Карского моря и даже – совсем уж без мысли, а только ради забавы – острые зубчики фьордов пустынной Новой Земли) Антонио оказался на Юге России, в Малом Мишкине, на даче атамана Матвея Платова, где и был зачат летом 1803 года, все – «в гувернантской комнатке с круглым окошком», уточняет Харузин, – снискавший всемирную славу российскому тамбурмажорскому искусству Сальвадор Романо.

Отправился же Антонио на Юг России с целью «защитить, – как говорилось в рескрипте на имя Платова, – путем инженерных работ, как то: наведение каналов, возведение дамб, устройство гидравлических систем и проч., столицу Области войска Донского Черкасск от весенних и летних разлитий Дона, кои затопляют ежегодно сей воздвигнутый невежественными пращурами на пологом острове город по окна, а в иные лета и по самые крыши домов,

похищая тем самым множество жизней любезных Нашему сердцу казаков». Поручение это, надо сказать, было не то чтобы совершенно бессмысленным – оно было до крайности лукавым, ибо накануне Александр одобрил проект переноса казачьей столицы на новое место, представленный атаманом Платовым, который, как пишет один малоросский историк, «страх як мріяв стати фундатором нового граду, та ще такого, котрий затьмарив би аж Санкт-Петербург пишністю будівель та чудовною геометрією вулиць».¹⁰ Так или иначе, Антонио, приехавший в Черкасск осенью 1802 года и ничего не знавший ни о проекте Платова, ни о страстных его мечтах, рьяно взялся за дело. Платов наблюдал за ним с насмешливым любопытством. Ожидая со дня на день высочайшего указа о возведении на самом величественном холме южнорусских степей, в пяти верстах от Малого Мишкина, Нового Черкаска, атаман, разумеется, не оказывал венецианцу ни малейшего содействия, но и не мешал ему выполнять поручение государя. И только уже в начале лета, когда Антонио, затратив огромные усилия, произвел-таки наконец все подготовительные работы, то есть объездил в распутицу и непогоду донские озера и гирла, назначил места для строительства дамб и плотин и умело разметил пути каналов, усеяв весь город колышками, Платов вызвал его в атаманский дворец и в торжественной обстановке, восседая с насекою и перначом под войсковыми знаменами среди разодетых в парчу и бархат старшин (оба, и розовощекий безусый император, и благородно седеющий усатый атаман, конечно, созорничали, когда за ужином в Петергофе задумали смеха ради этот явно неделикатный и несколько театральный финал), объявил, что 100 000 рублей серебром, отпущенных казною на инженерные работы, издержаны без остатку третьего дня в Азове, на покупку племенных жеребцов для станичных конезаводов, без процветания коих, сказал атаман сурово, немислимы мощь и проворство войска Донского. Выслушав это, Антонио, человек по природе своей необидчивый и умеющий применяться к любым обстоятельствам, неожиданно для себя вспылил. Не думая о последствиях, он надерзил атаману; в сердцах даже выдернул из петлицы свою инженерскую шпажку и, разумеется, тут же был взят под стражу – но отправлен, к своему изумлению, не в тюремный подвал Воскресенского собора, где сиживал Стенька, а в Малый Мишкин, на атаманскую дачу, под домашний арест – до особых распоряжений из Петербурга.

Тут-то, на даче, Антонио и познакомился с будущей матерью Сальвадора, гувернанткой дочери атамана Платова француженкой Эрнестинной Бессан... бесовкой... Эрнестинкой Бессан-бесовкой называл ее в шутку Платов, поглядывая не без волнения на ее свежие щечки в мелких, табачного цвета веснушках, рыжие кудри и гибкую спинку... Да, господа бутанцы! мать российского тамбурмажора была женщиной необычайно обворожительной и – что бы там ни писал о ней благонравный Харузин, что бы он там ни мямлил в смущении о «маленьких шалостях» Эрнестинки, прибегая на каждом шагу то к застенчивому многоточию, то к жеманному эвфемизму, – эксцентричной и сладострастной!..

* * *

Бутанцы – удивительно деликатный народ! До чего же внимательно, с каким почтительным выражением лиц они слушают лекцию! Всякий, кто хотя бы однажды поднимался на кафедру (здесь, конечно, кафедры нет: я, как и все бутанцы, сижу на циновке и лишь иногда встаю и прохаживаюсь, заложив руки за спину, между двумя колоннами, одна голубая, другая зеленая), поймет мое восхищение этой аудиторией, ибо знает, сколь важна и желанна для лектора атмосфера благожелательности. Благожелательность же бутанцев – безгранична! Они даже не потребовали от меня – хотя и имели на то все основания, – чтобы я читал на тибетском или на местном дзонг-кхе – «языке крепостей». Признаться, это было бы для меня

¹⁰ Страстно мечтал стать основателем нового города, да притом такого, который затмил бы аж Санкт-Петербург пышностью зданий и блистательной геометрией улиц (укр.).

весьма затруднительно. Гораздо труднее, нежели втолковать старику рамджаму, в чем состоит то существенное различие между лекцией и медитацией, которого он, кажется, так и не уловил, ибо вот он теперь сидит в укромном местечке за широкой пилястрой и беспрестанно вращает молитвенную мельницу, погруженный в свои раздумья... Зала, конечно, создана для медитации. Что и говорить! Все в ней дышит торжественным покоем. И хотя здесь ходит свободно всяческая живность – вдруг прошагает, высоко поднимая лапы и что-то старательно высматривая по сторонам, невозмутимый фазан или пробежит, нагнувшись, догоняя мелкую ящерицу, курица – величавый покой Благодичной Палаты Раздумий (так называется в переводе с тибетского эта зала) ничуть не нарушается.

Рамджам, вероятно, собрал здесь всех, кто остался в дзонге на время муссона. Даже воины гьялпо сообразовали явиться на лекцию, хотя они и большие гордецы; многие из них хорошо образованны – иные читают в оригинале не только английских поэтов, но и немецких мистиков: я видел у одного офицера томик сочинений Майстера Экхарта, изданный в Мюнхене. Однако по-русски они не знают ни единого слова. Увы, ни единого, как и все в этой славной аудитории. Впрочем, вон тот монашек, вполне сумасшедший с виду, со сморщенным светло-коричневым личиком и неким подобием бакенбардов – пучочки жестких волосьев мышинного цвета топорщатся странным образом из-под самых мочек ушей, – знает, бог весть откуда, одно русское слово: «барабан».

Перед самым началом лекции рамджам зачем-то подвел ко мне этого неопрятного, отвратительно кривляющегося (кажется, в силу нервного расстройства, именуемого в Европе «пляской святого Витта») монашка и, указав на меня кивком головы, стал ему объяснять, что я из огромной страны – рамджам сказал «с необъятного острова в Белом океане к северу от Лхасы» – и что я-де умею говорить на диковинном языке, одни звуки которого способствуют размышлению. Тут-то монашек и выговорил старательно, удивив и меня, и рамджама:

– Ба-ра-бан!

Напрасно я пытался выяснить у него, знает ли он еще какие-нибудь слова по-русски. Монашек только улыбался в ответ да высовывал язык в знак приветствия и дружеского расположения. Единственное, что мне удалось от него добиться, так это то, что он произнес с таким же старанием слово «барабан» на тибетском:

– Шнабук! – сказал он. И тут же удалился, очень довольный нашей беседой.

Однако на этом наше общение с ним не закончилось. Теперь, на лекции, он то подмигивает мне, то, как бы подбадривая меня, одобрительно кивает, возбужденно жестикулирует и вообще ведет себя так, будто он хорошо понимает «диковинный язык» «необъятного острова в Белом океане». А когда мне случилось по ходу изложения произнести слово «барабанчики» в родительном падеже (я сказал «...с отрядом неумных барабанщиков и ротой неумомимых гренадеров...»), монашек и совсем уж раздухарился. Он вскочил с места и, безобразно извиваясь всем своим непослушным телом, размахивая посохом, закричал по-тибетски:

– Ох апа! Ох апа! (Совершенно верно, совершенно верно!) Барабанщиков... ох апа!

Эта выходка, обратившая на себя внимание всей аудитории, несколько озадачила меня, и я, признаться, решил больше не употреблять ни слова «барабан», ни его производных, несмотря на то что мне просто необходимо рассказать кое-что о детстве Сальвадора, рассказать о том чудном, калмыцкой работы, с малиновым корпусом и медными ободочками военном барабане (я воспользуюсь французским словом «тамбур»), который был подарен маленькому Сальвадору – явно по промыслу Божьему! – атаманом Матвеем Платовым...

* * *

Это случилось, дамы и господа, уже после того, как француженка Эрнестина Бессан, легко соблазненная в то пыльное, ветреное лето 1803 года штабного инженера Антонио

Романо, скучавшего восемь недель под арестом на платовской даче (а потом уж, в иные лета и весны, когда инженер колесил по свету, позабыв о присяге на верность царю и о маленьком сыне на Юге России, – и уланского обер-офицера, дальнего родственника атамана, гостившего в Малом Мишкине, и войскового казначея, и даже одного генерал-губернатора), скончалась во временном женском госпитале бурно строящегося Нового Черкаска, – нет, не от скоротечной чахотки, как пишет Харузин, дошедший в пылу застенчивости до грубого передергивания, а от потери крови. Атаманский денщик, давно домогавшийся ласк Эрнестины – ей было тогда двадцать восемь, а Сальвадору – шесть, – рассек ей албанской саблей бедро, о котором он грезил в минуты мрачного возбуждения и которое она обнажила напоказ для его торопливого и постыдного облегчения за десять рублей в каретном сарае.

Мальчика взяла на воспитание дочь атамана Платова Анна Матвеевна (в замужестве Харитоновна). «Мне было так жаль, – вспоминает она, – этого маленького, несчастного иностранчика, никогда не видевшего своего родителя и потерявшего мать по вине отцовского денщика Якима, что я готова была подать прошение о его усыновлении Государю Александру, на что получила – хоть и с большим трудом – согласие моего мужа Константина Ивановича. Однако папенька мой не позволил мне этого сделать. Во-первых, говорил он, Государь никогда не простит отца Сальвадора, подло сбежавшего к Бонапарту, а во-вторых, и я не могу допустить, чтобы сын перебежчика носил фамилию моего зятя». Платов, по свидетельству дочери, ненавидел инженера Антонио лютой ненавистью: встретив его в 1814 году в Лондоне в свите принца-регента Уэльского, он до того был взволнован и удивлен, что не мог сдержать своих чувств, схватил его за обшлаг – на Антонио был уже не полковничий, а генеральский мундир, украшенный Большим крестом ордена Бани – и процедил сквозь зубы:

– Так ты и от Наполеона сбежал, прохвост, сучий выродок!..

– Да, ваше сиятельство, – ответил Антонио равнодушно. – А вы, я слышал, город воздвигнули и... сына моего приютили... как бишь его?.. Сальвадор?.. Очень признателен.

Больше они никогда не виделись: Платов, которого целый месяц чествовали в Лондоне, воздавая ему за геройство в войне с Бонапартом, отплыл под салюты и фейерверки из Дувра на русском фрегате, а Антонио спустя два года, выйдя из того же порта на английской шхуне с секретным поручением принца-регента, утонул в Бискайском заливе.

Однако к сыну перебежчика атаман относился со сдержанной, но все же заметной для всех теплотой – то ли потому, что он чувствовал вину перед ним за гибель его матери – недосмотрел за развратным Якимом, вовремя не высек сластолюбивого денщика, – то ли потому, что ему пришлось по сердцу гордый, вспыльчивый нрав маленького Сальвадора: как-то раз, когда атаман сгоряча хлестнул его батогами за какую-то шалость, Сальвадор побледнел, затрясся от боли, но не обронил ни единого звука, едва сдержав слезы, а на следующий день поджег атаманскую конюшню.

Вскоре после этого случая, который Анна Матвеевна описывает в своих мемуарах довольно подробно и живо, Сальвадор заболел воспалением легких. Оно было вызвано не столько простудой, сколько нервным потрясением во время пожара: запалив конюшню, Сальвадор сам остался в ней и, вероятно, сгорел бы заживо, если бы его не вынес из огня расторопный платовский кучер, ставший впоследствии управляющим южнорусским имением Сальвадора. «Болезнь была жесточайшей, – вспоминает Анна Матвеевна, – Сальвадор ничего не ел, никого не узнавал в бреду, и надежд на его выздоровление было мало, хотя папенька и посылал беспрестанно за лучшими докторами то в Новый, то в Старый Черкасск, то в Ростов...»

Анна Матвеевна не сообщает, а потому и я не могу вам сказать, дамы и господа, как и почему доблестному атаману Матвею Платову пришлось в голову подарить семилетнему Сальвадору Романо, умиравшему от воспаления легких на постели своей ветреной матери в жарко натопленной гувернантской комнатке с единственным круглым окошком, смотревшим на аксайское займище, военный тамбур, да притом еще подарить в тот день, когда доктор Альберт

Тизенгаузен, приехавший из Новочеркасска с целой свитой озабоченных ассистентов, объявил, осмотрев Сальвадора, что мальчик отдаст Богу душу не сегодня завтра, но я берусь утверждать, и утверждать наверняка, что этот нехитрый подарок не только спас Сальвадору жизнь, но и определил всю его дальнейшую судьбу.

Вот что говорил на этот счет сам Сальвадор, уже будучи старцем, корреспонденту мадрасской браминской газеты *New Reformer*, посетившему его в Малом Мишкине за несколько недель до его кончины (интервью это, между прочим, свидетельствует, что Сальвадор находился в совершенно здравом уме и ясной памяти, хотя и лежал привязанный к койке ремнями – по его же собственной настоятельной просьбе – в отдельной палате маломишкинского сумасшедшего дома).

«Сальвадор. Чьи-то огромные лица склонялись надо мною, выступали из мрака тусклыми пятнами и снова исчезали. В комнатке было душно, меня тошнило. Все предметы казались мне чрезвычайно увеличенными и подвижными. Стоило мне взглянуть на какую-нибудь вазу, и она мгновенно разрасталась, надвигалась на меня вместе с консольным столиком... Ослабьте немножко ремень, сударь... да-да, вот здесь, рука затекла... Все формы в мире, видите ли, случайны, непрочны и в общем-то смехотворны, их балаганное разнообразие просто нелепо, если узреть Единое...

Корреспондент. О да, несомненно!

Сальвадор. Но я привязался к этим формам... Степь хороша! И донские разливы, сударь, чудесны!.. Я не хочу изменений, движений, утрат, обновлений. Это болезненные процессы бытия – блажен, кто их избегает усердно, и поэтому я...

Корреспондент. Простите великодушно, дорогой Сальвадор, вы, кажется, хотели рассказать о тамбуре?

Сальвадор. Да-да, тамбур!.. Тамбур – это тоже случайная форма, обретенная звуком. Единое породило звуки. Из звуков возникли, нет, не возникли, а вспыхнули, расцвели, точно салюты в ночных небесах, литавры, валторны, тамбуры, тамбурмажорские жезлы и флейты!.. Надеюсь, вы меня понимаете, сударь?

Корреспондент. О да, я слушаю вас.

Сальвадор. А тот незабвенный тамбур... Я помню, мне показалось сначала, что он возник сам собою в сумрачном воздухе, где-то у печки. Однако потом я заметил фигуру атамана. Он был в распахнутом кителе, нижняя рубашка мерцала на нем бело-лунным светом. Он стоял неподвижно и держал на ладони тамбур, и эдак, знаете ли, грозно улыбался, как он улыбался всегда: одними глазами и левой бровью... вот так... Потом он приблизился ко мне на цыпочках; осторожно, будто картонку с дамской шляпкой или тортом, поставил тамбур на тумбу у моего изголовья и так же, на цыпочках, удалился, поскрипывая сапогами... А спустя некоторое время я услышал голос: «Смотри, Сальвадор! Вот предмет, порожденный самыми гордыми, самыми бодрыми звуками во Вселенной! Это подарок тебе. Мой подарок!» Я приподнял голову – в комнате не было ни души. Тамбур стоял среди склянок с лекарствами – я протянул к нему руку, и он вдруг качнулся, поплыл на меня, и, прежде чем он заполнил собою всю комнату, я кое-что успел разглядеть в его начищенных медных ободочках...

Корреспондент. Вы хотите сказать, драгоценный Сальвадор, что вам открылось тогда ваше предназначение?

Сальвадор. Нет, тамбурмажорский жезл не явился мне тогда в моем минутном видении. Я увидел чудесным образом только то, чем он потом одарял меня, – меня, безродного иностранца, сударь! Я увидел ордена Святой Анны всех степеней, золотые империялы, эполеты лейб-музыканта Его Величества... Я выздоровел очень скоро, потому что мне захотелось шагать, шагать! и ударять в тамбур упругими палочками – тум-туру-рум! Тум-туру-рум!»

Это интервью, перепечатанное после смерти Сальвадора многими русскими и некоторыми европейскими газетами, было последним в его жизни и, пожалуй, самым задушевным...

Впрочем, дамы и господа, достопочтенные бутанцы, я обязан сказать вам, что и это предсмертное интервью, «проникнутое», как заметил мечтательный «Крымский курьер» госпожи Лупандиной, «светлой грустью воспоминаний и предчувствием близкой кончины», не обошлось без выпренных инвектив – я имею в виду то желчное, грозно-витиеватое, наполненное безумной злобой и, конечно, не соотносящееся ни с одним из вопросов мадрасского корреспондента, благоразумно уклонявшегося от болезненной для Сальвадора темы, высказывание о Миклухо-Маклае (совершенно фантастическом злодее, в представлении Сальвадора, встречавшегося с ним, оказывается, в 1886 году в Одессе), которое было изъято из деликатности не только степенными «Русскими ведомостями» и осмотрительным «Русским словом», но даже куражливым и беспечным, не лишенным вкуса к скандалам «Московским листком» Пастухова и от цитирования которого я тоже позволю себе воздержаться, чтобы не оскорблять здесь память знаменитого путешественника...

* * *

Монашек, кажется, успокоился. Он даже как будто бы задремал. Однако сухонькая и тусклая рука его, уже просвечивающая от немощи, точно горящая свеча или тонкий фарфор, бодрствует – не забывает перебирать четки. Отполированные костяшки – каждая в свой черед – проходят через подвижные пальцы, и каждая как бы рождается на мгновение для безотчетного осязания, – рождается и снова умирает – уходит в область неосязаемости, но не выходит из круга... снова рождается... «Я прошел через сансару многих рождений и скажу тебе, о Ананда, рождение вновь и вновь – горестно!» – потому что рожденных ждет смерть, а умерших – рождение. И так бесконечно и безначально и без исхода из круга...

Об этом ли думает теперь монашек, перебирая четки? Ему положено думать об этом. Даже во сне. Но я подозреваю, что он все же не спит. И я подозреваю также, что он знает по-русски не только слово «барабан»... Ба-ра-бан... Барабанщиков... Ох апа... О, комедиант! Он слушает, он внимательно слушает – понимает все до единого слова!.. и ждет, затаившись, веселой и разухабистой минуты скандала. И если он оттягивает ее, лукавый прозорливец, то вовсе не из жалости ко мне, а для собственного удовольствия... Наблюдает за мной, как бывалый крупье за неопытным шулером... Наблюдает с торжествующим и злорадным наслаждением, ибо давно уже догадался – не мог не догадаться, – что я боюсь позорного разоблачения. Боюсь, что вот сейчас, сию минуту, он встряхнет костяными четками, поднимется и решительно воскликнет – и не по-русски, нет, не по-русски, а на тибетском или дзонг-кхе, чтоб понимали все:

– Вы лжете, господин лектор! Вы бессовестно и извортливо лжете!! Ни о каком Миклухо-Маклае не было речи и в помине в этом, как вы выразились, «предсмертном интервью»!.. Но было в нем сказано то, чего вы, ничтожный ученый червь, не решились сказать даже в бытность свою Гаутамой излюбленному ученику – Ананде!..

И тут он, быть может, извлечет из-под тоги номер мадрасской браминской газеты *New Reformer* от 25 августа 1901 года и, кое-как нацепив на нос непослушной рукою очки с отломанными оглобелями, процитирует те безумные высказывания Сальвадора, напечатать которые не сочли для себя возможным ни «Русские ведомости», ни «Крымский курьер» Лупандиной, ни даже «Московский листок» Пастухова.

«Сальвадор. Вы спрашиваете о Едином, сударь... Я вам скажу: Единое вовсе не безгранично, как учат у вас там, в Индии. Его едва хватило на весь этот пестрый балаган воплощений. И поэтому, сударь, все зримые формы исчислимы и ограничены... Да-да! Мир так устроен, что в силу самого факта его существования при ограниченности Единого и полной завершенности Истории Воплощения мы уже были и будем бесчисленное количество раз всем и вся, что однажды породило Единое в случайном порыве – барабанами, Цезарем, флейтами, звездами. И не думайте, сударь, что форм, порожденных Единым, так уж и много! Увы, это

извечная и обольстительная иллюзия. Даже если бы в этом мире существовало время, нам бы его хватило, чтоб пройти миллиарды раз Полный Круг Воплощений. Но времени нет места в замкнутом круге. Часовые механизмы Единое породило лишь в угоду нашей трогательной фантазии. Движение же частиц Единого сквозь зримые формы не измеряется ни минутами, ни столетиями, оно происходит, и это все, что можно о нем сказать. И я бы сказал еще вот что: движение это таково, что мне уже примелькались иные формы, и таково, что я уже успел приглядеться к иным воплощениям. Я не раз был вами, как, впрочем, и вы – мною, и осмелюсь доложить вам, что вы мне совершенно не нравитесь. Но пусть вас это не оскорбляет: если бы это было возможно, я хотел бы избежать не только вашей безалаберной, суетной и в общем-то неприметной жизни, но и жизни Христа, апостола Иоанна, Будды, Ананды и той благочестивой жизни, которая ждет меня теперь, – жизни больного монашка, одержимого «пляской святого Витта», в королевстве Бутан, и следующей, увы, несчастной жизни – одного безумного литавриста, вообразившего себя – ну кем бы вы думали! – профессором истории тамбурмажорского искусства... да-да, я не шучу, вы даже можете его увидеть, если хотите, прямо сейчас: он здесь, в сумасшедшем доме, на втором этаже – читает уже лет пять подряд со всевозрастающим возбуждением нескончаемую и фантастическую лекцию обо мне... Словом, сударь, я должен признаться, что мне опостытели эти бесконечные путешествия – из формы в форму, из жизни в жизнь. И если уж мы не можем выйти из круга смертей и рождений, то я хотел бы, по крайней мере, являться в этот мир кем-нибудь одним...

Корреспондент. Но кем?

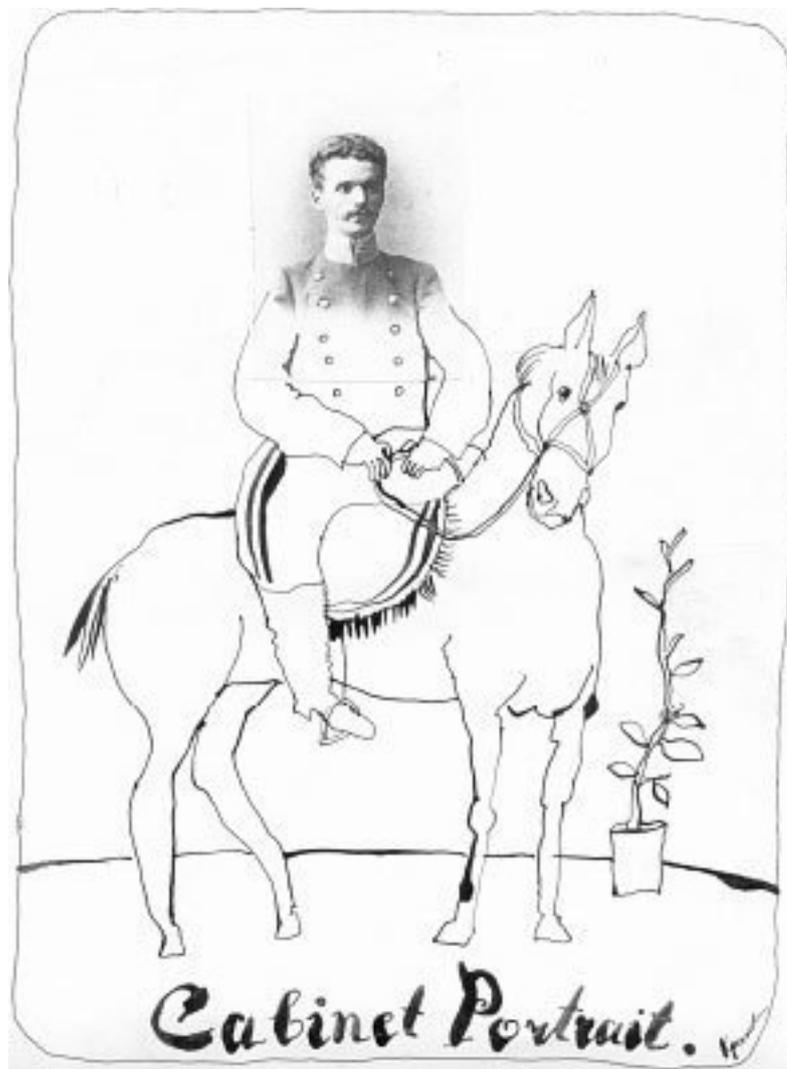
Сальвадор. Я понимаю ваше любопытство. Но не скажу вам ничего нового, ничего сверх того, что говорил вам всегда при этом стечении обстоятельств и в этой точке мироздания: я привязался к *настоящему* воплощению, и всякий раз, когда я рождаюсь российским тамбурмажором Сальвадором Антоновичем Романо, я думаю, что всегда хотел бы родиться именно Сальвадором Антоновичем Романо, ну или, быть может, Барабанщиковым... Барабанщиков! – такую фамилию придумал мне граф Платов в одной из своих бесчисленных жизней после того чудесного исцеления, о котором я, кажется, уже вам рассказывал... Да... так вот, сударь, мне всегда грустно расставаться с Сальвадором Антоновичем, и я хотел бы оставаться им навеки. Но дело в том, что мне так же грустно бывает расставаться и с вашей никчемной жизнью, и, будучи вами, я часто думаю, что хотел бы всегда родиться мадрасским журналистом. И даже к жизни безумного литавриста Игната Ставровского я иногда привязываюсь и с удовольствием читаю его идиотскую лекцию, искренне сокрушаясь, что ее не почтил присутствием бутанский король...»

А потом монашек скажет все то, что известно ему и всякому, уже побывавшему в свой черед великим тамбурмажором.

– Никогда, – скажет он, – Сальвадор Антонович не поносил земных путешественников и не испытывал ненависти к земным путешествиям! И вы, господин лектор, хорошо знаете об этом, потому что сами были множество раз великим тамбурмажором. А теперь, когда вам, затерянной частичке Единого, удалось обрести покой, когда исполнилась ваша мечта, то есть мечта Сальвадора! и вы овладели счастливой способностью родиться всегда только одним человеком – профессором истории тамбурмажорского искусства, вы готовы оклеветать Сальвадора, вы готовы свести всю драму его жизни к пошлейшему психологическому этюду, для чего и выдумали бессовестно, что он будто бы ненавидел *всякого* рода путешествия и *всякого* рода путешественников и что якобы батюшка его, почтенный инженер и домосед, благородно погибший при строительстве дамбы в Черкасске, был путешественником и шпионом!.. А потом вы нам скажете с ученой многозначительностью – я знаю наперед, что вы скажете: «Дамы и господа! Достопочтенные бутанцы! К сожалению, я не могу ответить сколь-нибудь однозначно на главный вопрос нашей лекции – почему великий тамбурмажор ненавидел путешествия? Однако считаю, что из всех предположений на этот счет наиболее обоснованным и правдопо-

добным остается предположение, что эта ненависть была вызвана враждебным отношением к отцу, который в угоду своей неумной страсти к перемене мест ступил на путь вероломства...» О, как просто у вас все сходится и объясняется, господин ничтожнейший лектор!! – воскликнет монашек...

Но он молчит, выжидает, перебирает четки. И, быть может, дает мне возможность исправить мое положение – повернуть лекцию иначе. И я поверну. Непременно поверну, дамы и господа! У меня есть еще время. Муссонные дожди в Бутане только начались!..



Тайны жалонёрского искусства, или Разоблачение д-ра Казина

1

Ах, разве мог я не ликовать, когда он наконец-таки оказался у меня в руках, последний адрес этого утонченного и изворотливого мошенника! С некоторых пор, с тех пор как ему перевалило за сто (каким поразительным, прямо-таки библейским долголетием отметил Бог шельму!), он разлюбил шумные города. Он без сожаления покинул Нью-Йорк, где «расцвели и окрепли», как он фанфаронски выразился в своей напыщенной автобиографии, его «неистощимые научные способности», где он впервые «вкусил известности» и откуда успел улизнуть еще до того, как я решился снести с ним по почте.

Некоторое время он скрытно жил в Аллентауне, не сообщая точный адрес даже своей «горячо любимой и трепетной Дашеньке» – безобразно горбатой девятидесятилетней сестре, смиренно коротающей свой тусклый, неприметный век здесь, в Новочеркасске, в непроходимо заросшем кустами дикого абрикоса и желтой акации Криничном переулке.

Из Аллентауна, неуклонно продвигаясь на запад (быть может, по какому-то заранее обдуманному плану), он перебрался в Кливленд. Затем – казалось, уже окончательно, до гробовой доски, – обосновался в Толидо, на Вест-Банкрофт-стрит. Но нет, нет! Из Толидо, с берегов Великих озер, мое письмецо – как перелетная утка, побывавшая в безмерно далеких от холодных болот отчизны краях и там окольцованная чужестранными орнитологами, – прилетело на родину, на «милую, незабвенную родину» д-ра Казина, говоря языком его пошлейшей автобиографии, и, недолго разыскивая в Новочеркасске частновладельческий дом на Кадетской, приземлилось на мой захламленный письменный стол, щеголяя ярким глянцевым ярлычком, которым оно разжилось где-то на чинном столе заморского почтмейстера. Ярлычок учтиво извещал, что моя горемычная корреспонденция, увы, – «undelivered»,¹¹ а посему – «return to sender»¹² и что о названных досадных обстоятельствах я не должен думать как о возникших по нерадивости или же вздорной прихоти вселюбезной почтовой службы, у которой на случай подобных, весьма оскорбительных подозрений имеется исчерпывающий набор решительно от нее не зависящих, затаенно возможных причин недоставки. Из их перечня – боже мой! – из их подлого перечня, кем-то любовно упорядоченного, подчиненного эдакой торжественной градации, на предназначенном для меня ярлычке была помечена – так сказать, представлена на мое рассмотрение, – последняя, восьмая, самая нелепая, самая смехотворная и самая комедиантская причина, по которой д-р Казин не имел возможности получить мое письмо. Она была изложена с помпезной лапидарностью: «Скончался». И она, разумеется, была рассчитана на то, чтобы сразить наповал своей неустрашимостью простодушного адресанта – одного терпеливого и бесконечно малоприятного для д-ра Казина адресанта из южнорусской провинции, которого он, должно быть, куражась в компании преданных ассистентов, не раз называл землячком-простачком...

О нет, к тому времени я уже слишком хорошо был осведомлен о способностях и манерах Станислава Модестовича, чтобы спутать разыгранный им разухабистый фарс – «Скончался», ха-ха! – с одноименной высокой трагедией. И хотя ярлычок признаюсь, этот щеголеватый заезжий господинчик, который передо мною столь галантно витийствовал, произвел на меня поначалу, как обходительный, ловкий понтёр на незадачливого банкюмета, завораживающее впе-

¹¹ Не доставлена (англ.).

¹² Возвращается отправителю (англ.).

чатление, я очень скоро, вероятно, гораздо быстрее, чем это возможно, когда в безупречном облике прелестника нет ни малейшей подсказки (поддельного ордена в петлице, сомнительной седины в бровях, фальшивого изумруда в аляповатой оправе, стеклянно поблескивающего на мизинце, не говоря уж о плохо приклеенных – хрестоматийных – льняных усах), догадался, что он отъявленный шулер и что небитая карта – «Deceased»,¹³ – предьявленная мне картинным, победоносным жестом, отчаянно выдернута из-под манжетки.

Во всяком случае, я понял это еще до того, как с озера Эри возвратилось отправленное мною вторично по тому же адресу и уже хорошо освоившее дальние перелеты мое настойчивое письмо. Глянцевый представитель почты, новоопределенный в должность «обратного штемпеля», как ни в чем не бывало, как будто он и не ведал, какими фокусами здесь забавлялся его жуликоватый предшественник, невозмутимо сообщил мне, что д-р Казин «Gone away»,¹⁴ – что он, понимаете ли, некоторым образом «Disappered from view»¹⁵ – «Фьють», как говорят в таких случаях в отечестве мистера отправителя, – словом, дьявольски ловкий д-р, обратившись внезапно в тонкое вещество, подобное «веселящему газу», «Evaporeted into thin air»...¹⁶

Да, для меня он действительно – по крайней мере на год – исчез.

Полгода мне потребовалось, чтобы выяснить, что д-р Казин, придерживаясь все того же – западного – направления, укатил из Толидо куда-то еще дальше, куда-то в глубь континента: за Великие озера, за Миссисипи. И только еще через полгода, ценою огромных усилий, ценою нелепейших объяснений с горбатой Дашенькой, – выжившая из ума старуха всецело пребывает в том призрачном, феерическом мире, где ее драгоценный братец блистательно молод, где он – лукавый гостиничный виртуоз пирамидки и карамболя – ежедневно меняет бороды, парики, портсигары, тросточки, отправляясь с вечерней конкой в «Европейскую» или в «Донскую» порезвиться на бильярде, где его беспрестанно разыскивают обмишурившиеся партнеры, доверчиво принявшие притворщика-аса за неумелого новичка, и где, по всей видимости, ему угрожает расправой один проигравшийся до копейки акцизный чиновник, о котором несчастная Дашенька говорила с тревожным негодованием, то и дело поглядывая на меня, – ценою постыдных ухищрений (пришлось изображать из себя бильярдного шулера – верного компаньона Станислава Модестовича, чтобы вынудить Дашеньку поискать в заветной шкапулке – «Стало быть, надобно, милая! Для важного дела!» – его последние письма) мне удалось узнать, что почетный член четырех академий, вечный житель нетленных энциклопедий, облюбовав для профессорства какой-то забытый Создателем Лютер-колледж, поселился в идиллическом захолустье, в назойливо живописном – судя по присланным Дашеньке снимкам, – аккуратно прилепившемся к пологим холмам городке, чье название, как и все, что связано с д-ром Казиним, дает несомненный привкус театральности и карнавальности – Декора... 210 Скай-Лайн, Декора, штат Айова...

Там-то его и настигло нижеследующее послание.

2

«Станислав Модестович!

Затеянный Вами в Толидо комедийный спектакль вполне убедил меня в том, что с годами – да еще с какими годами, о новоявленный Мафусаил! – Вы не утратили способность к трюкачеству. Однако и я, надеюсь, сумел Вам напомнить своей пронизательностью тех ваших редких партнеров, которые смело хватали Вас кто за рыжую эспаньолку, кто за турецкий нос (ах,

¹³ Скончался (англ.).

¹⁴ Выбыл (англ.).

¹⁵ Скрылся из виду (англ.).

¹⁶ Улетучился (англ.).

чего только не было в стародавние времена в магазинчике «Мельпомена» на Арсенальной!), распознав в Вас по какому-нибудь немислимому, виртуозно исполненному абрикوليو «генерала от бильярда»...

Этот праздничный, буффонадный чин, пожалованный Вам на рождественском маскараде атаманом Самсоновым, да жалкие Дашенькины украшения, соблазвившие Вас в минуту отчаяния, – вот все, чем Вы обладали в тот незапамятный день, когда Вы отплыли на баркасе «Орфей», осторожно примазавшись к молчаливому обществу удрученных деникинских офицеров, от берегов Отечества.

Но были, конечно, и дерзкие замыслы, были мистификаторские способности и был необычайно подвижный, восприимчивый ум, который Вам весьма пригодился, когда Вы неожиданно сделались настойчивым посетителем довольно непривычных для Вас заведений. Я представляю, как Вас раздражала сухая, скрипучая тишина солидных библиотек! Представляю, как Вы тосковали в дремотных, сумрачных залах по зычным голосам расторопных маркеров, по ободрительному цоканью крепеньких, славной работы Фрейберга, бильярдных шаров; не сомневаюсь, что они еще долго – вместе с кудесниками-киями, творившими чудеса на лазурном сукне, вместе с прожорливыми лузами, хищно заглывавшими губастыми рыбьими ртами увесистую добычу, и прочими, дивно преображенными, любезными Вашему сердцу предметами – навещали Вас в зыбких дневных сновидениях, служивших Вам сладостными привалами в Вашем упорном походе сквозь кряжистые фолианты, туманные брошюрки, хлипкие журнальчики... О, до чего же они изнуляли Вас, все эти «трактаты», «заметки», «записки», исполненные назойливых примечаний, дотошных комментариев, настырных приложений! Одолеть их было гораздо сложнее, чем положить в дальний угол отменным клапштосом упрямого красавца. Но Вы не сдавались, ибо для осуществления Ваших замыслов Вам мало было приновиться к степенной походке ученого мужа, мало было усвоить затейливые обороты речи и обзавестись впечатляющими (на сей раз настоящими и пожизненными) стрелчатými усами. Вам нужно было еще вникнуть – и притом основательно – в кое-какие филологические тонкости, в кое-какие лингвистические теории, полистать труды почтенных географов, очерки ветреных путешественников, чинные сочинения историков. Словом, Вам пришлось потрудиться. Пришлось проделать большую работу – оказавшуюся, впрочем, Вам по плечу лишь благодаря мошенническому таланту, – прежде чем гималайское королевство Савитар, выдуманное Вами, по всей вероятности, еще на баркасе «Орфей» в часы тошнотворной качки на пепельных черноморских волнах, покорно перенявших цвет декабрьского ненастья, обрело, в подражанье реальности, устойчивые очертания – качество, чуждое и малодоступное подвижным фантомам и зыбким вымыслам, но столь необходимое им для вожделенного выживания в условиях враждебной достоверности; прежде чем «савитарские тексты», будто бы обнаруженные на некоем высокогорном плато в суровых Западных Гималаях, где Ваше расчетливое воображение поместило мифический Савитар, «тайное государство браминов», – стали вполне внушительным, вполне реальноподобным предметом Ваших будничных и неспешных исследований, а равно и предметом «искуснейших», «кропотливых», как простодушно считает журнальчик Language Arts, переводов на русский, немецкий, английский (Боже правый! неужто и в самом деле можно кого-нибудь убедить, что эти бессвязные тексты, нарочно испещренные для пушей невнятности таинственными лакунами, были созданы учеными королями и многомудрыми жрецами Савитара, «возникшего еще до рождения Гаутамы» и «внезапно исчезнувшего в I в. по Рождестве Христовом?»); и прежде чем просочилась, проникла в область всяческой несомненности, получив надежное гражданство привередливых энциклопедий, Ваша самая главная и самая вдохновенная выдумка – язык гаятри, на котором были написаны (пишутся и сейчас, быть может, в особнячке на Скай-Лайн в Декоре) «савитарские тексты».

Уж ему-то Вы, несомненно, обязаны всеми мыслимыми и немислимыми почестями, этому таинственному, дремучему и фантастически непостижимому языку, который, однако ж,

Вам удалось постигнуть и который, судя по Вашим то величаво немногословным, то нахально-трескучим статейкам, является языком удивительно сложным, причудливо-прихотливым и по сию пору никому не доступным – кроме д-ра Казина, разумеется, кроме некоторых его ассистентов да пестрой, разноязыкой шайки его лукавых учеников, предусмотрительно рассеянных им по всему свету и теперь уж не менее именитых, чем их седовласый патрон, некогда заприметивший в них родственные способности и безжалостно отучивший их от мелкого и трусливого шарлатанства, сулившего им в лучшем случае унылые годы безвестного лекторства. Впрочем, никто из них – ни профессор Делийского университета д-р Абхай Бхатнагар, в чью осанку лубочного мудреца-пандита – руки, скрещенные на груди, горделиво неподвижная голова в чалме – Вы, вероятно, вложили немало нервного труда на Ваших особенных, «театральных» уроках (а он между тем, да будет Вам, сударь, известно, позволил себе воровато вихляться на манер базарного балагура-факира, гастролируя прошлой зимой в Вашем студенческом Отечестве с пылками, жгучими лекциями о глаголах гаятри), ни белокурая Ваша любимица с табачного цвета бровями и повадками престарелой лоретки д-р Мария Буглон – ароматно ржавящая хризантема в пышном букете прочих, любовно возвращенных Вами парижских филологов – сорт «европейский Казин», ни д-р Антонио Сангвинетти, преумножающий славу Вашего дружного кланчика энергичным профессорством в Риме, – никто из них не может сравниться с учителем в ловкости и артистичности.

Они лишь способны – эти «жалкие, второсортные клоуны», как Вы написали однажды Дашеньке, не понимающей, кстати, где именно Вы находитесь и чем занимаетесь: «Стасик играет на бильярде, сударь! С акцизами и актерами, вот!» – кое-как повторять с заученными ужимками и потешными искажениями многосложные трюки искусного иллюзиониста. Без Вас они ничего не значат, и потому, должно быть, Вас никогда не смущало то обстоятельство, что иные из Ваших питомцев (предательски своевольный д-р Ольшевский или заносчивый д-р Кудер) пытались затмить Вас на шумных симпозиумах, – Вы ничуть не мешали им; Вы благодушно подмигивали, теребя по привычке (хорошо ли приклеен?) живой неотлучный ус, заигравшимся сорванцам, а потом мимоходом журили их за неточности в переводах с фантастического гаятри, за неверное толкование баснословных писаний и за прочее, прочее, еще более иллюзорное, еще более мифическое, давая понять своим прытким воспитанникам, что есть вещи – текучие, тонкие, неуловимые, – в которых по-настоящему смыслит только почтеннейший д-р Казин! Только тот, господа шарлатаны, кто сумел переродиться из бильярдного шулера-виртуоза в «единственного в мире авторитетного специалиста по языку гаятри», в «неутомимого переводчика удивительных текстов древнего Савитара», в «признанного исследователя обширнейшей литературы исчезнувшего королевства». Такими аппетитными, хотя и пропитанными газетным душком, славословиями попотчевали недавно Ваше ненасытное тщеславие американские научные журналы, среди которых, кажется, особенно постарался *Journal of Indo-European Studies*, состряпавший к Вашему столетнему юбилею пышный слоеный пирог из двадцати сладчайших для Вас страниц.

И вот, Станислав Модестович, Вы попались.

Не знаю, что побудило Вас, осторожного и опытного мошенника, который не простил бы подобной промашки нетерпеливому подмастерью, умелого и удачливого мистификатора, уже давно и беспечно пожинаящего плоды своих плутовских изысканий, глубокого старца, наконец, готового в любую минуту («без тени суеверных надежд на красочную иллюминацию за устрашающей дверью», как Вы поэтично заверили одного пытливого интервьюера) отойти в мир иной под торжественное причитание велеречивых некрологов непойманым, неразоблаченным, – что, я спрашиваю, побудило Вас исполнить под занавес этот грубый, нелепый, явно рискованный фокус – взять да и выдать за «савитарский текст», за «многолетний перевод с языка гаятри» сугубо специальный, военно-научный труд «Тайны жалонёрского искусства»,

написанный в начале столетия (XX, а не IV до Р. Х., господин циркач!) моим доблестным прадедом, кавалером Владимира четвертой степени, гвардии сотником Павлом Туркиным?!

Быть может, Вам ужасно наскучило самому сочинять «савитарские тексты»? Или, быть может, вы наконец-таки преисполнились (пора уж, пора в Ваши годы!) блаженного старческого идиотизма, вместе с которым частенько являются улыбчивым и уже беспробудно счастливым слюнявым патриархам веселые говорливые демоны, задорно хихикающие и склоняющиеся к невероятным выходкам? Или, напротив, в Вас говорили насмешливый ум и желчный азарт, когда Вы решились на этот отчаянный, опасный для исполнителя номер, решились, чтоб доказать окончательно всей Вашей шулерской братии, что Ваши возможности безграничны, что Вы способны, к примеру, преобразить в «савитарский» первый попавшийся под руку текст, заgrimировав его хорошенько – посредством лакун, отточий, косноязычных вставок – под эдакого дремучего, кособокого старца-заику! О, этот нехитрый, но испытанный грим Вы наложили, маэстро, на «Тайны жалонёрского искусства» до того умело и ловко, не забыв при этом надежно упрятать в лохмотья какого-то кучерявого, древнеподобного словоблудия наиболее неудобные части текста, обнаруживающие его принадлежность к не очень-то давнему времени, что даже мне, потомку, правнуку скромного автора, то есть особенному читателю, для которого чинные главы трактата, его пункты, подпункты и уточнения, возглавляемые пузатенькими параграфами, столь же знакомы и дороги, как снимки в семейном альбоме, не сразу удалось распознать в безобразном, косматом калеке энергичное и подтянутое, блистающее военной выправкой произведение предка, бессовестно выпущенное Вами в свет (уж не знаю, с веселым ли изумлением, выронив из глазницы блескучий монокль, или с угрюмым негодованием, надвинув на оный змеистую бровь, взглянул бы на это мой благодетельный прадед) под именем короля Савитара Салроша I.

Не исключаю также, что Вы не преследовали серьезных целей, пускаясь на это ухарское, молодецкое, беззаботно-нахальное передергивание, а просто Вас увлекло желание насладиться тем ободряющим, обжигающим риском, которого трепетно избегают благоразумные новички, но который приятно тревожит нервы бывалым, уверенным игрокам.

А может быть – и это мне представляется наиболее вероятным, Вы почувствовали себя в последнее время настолько хорошо защищенным от каких бы то ни было разоблачений несокрушимой крепостью из Ваших увесистых монографий, многопышных почетных званий и всевозможных наград, что уже и не видели никакого риска в том, чтоб испробовать новый метод, а именно: переводить на русский («сначала на русский, а потом уж на прочие, – заметили Вы в предисловии к «Тайнам...», – ибо родной мой язык, старинный мой барин, пользуется правом первой ночи в девственном царстве савитарских рукописей», – ах, ах!) написанные на русском же сочинения.

Ну, конечно, конечно! Вы ничуть не рисковали. Вы хорошо понимали, что скорее паршивца-разоблачителя объявят безумцем, чем д-ра Казина – жуликом. Да и трактат для опыта Вы выбрали не случайно, не в слепом удалецком азарте – а с холодным расчетом. Он подходил Вам по многим причинам.

Во-первых, он приглянулся Вам своей неожиданной отвлеченностью. Прослужив десять лет дивизионным жалонёром и постигнув все тонкости этой «пространственной службы» (чудное выражение прадеда!), Павел Евсеевич вовсе не ставил себе заумной цели описывать с солдафонской конкретностью разнообразные случаи «из действительности», поучительные для неотесанных новобранцев, или создавать громоздкий учебник наподобие «Жалонёрской азбуки полковника Трояновского» (СПб., 1859), которую Вы, по всей видимости, тщательно проштудировали, прежде чем приступить к «переводу» загадочного для Вас трактата. Во всяком случае, г-н Трояновский, чуждый, в отличие от моего вдохновенного прадеда, авторского задора, но не лишенный усердия, вполне мог снабдить почтенного д-ра Казина, несведущего в военных науках (да и ни в каких, Боже мой, кроме мошеннической, разумеется!), кое-какими

сведениями о жалонёрах. Мог разъяснить Вам, к примеру, что «названием этого рода военных мы обязаны французскому слову «*jalon*» – *веха, знак*, или попросту *шест*, – от которого, в свою очередь, производится «*jalonneur*» – *расстановщик вех*, или *вехарь*, иначе *линейный*»; что «при Фридрихе II в прусской армии насмешливо называли словом «*jalon*» ужасающе громадного роста, но проворнейших унтер-офицеров, выбегавших для занятия линий при построении войск на плацу»; что «обязанности прусских жалонёров, по-видимому, этим и ограничивались, тогда как в иных европейских и азиатских армиях сии дивные великаны-жалонёры, обученные бегать лицом назад, дабы держать меж собою надлежащие интервалы, обученные особенным, дружным манером перемещаться в пространстве, обозначая своим собственным совокупным видом гигантские ромбы, углы, трапеции и параллельные линии, устремленные в бесконечность, обученные многому и разнообразному, употреблялись гораздо шире: при любом построении значительных войск, из больших и сложных частей состоящих, при развертывании боевых порядков и занятии всевозможных позиций, при наступательных маршах и отступательных движениях, при совершении рейдов, походов, бросков», – и иных «эволюций» в зримом пространстве, как сказал бы мой прадед, который, кажется, недолюбливал термин «маневры». Да и словечко «жалонёр», пригретое русским военным лексиконом, он, между прочим, тоже не жаловал.

Трактуя жалонёрскую службу как некую восхитительную игру, преисполненную затейливых правил и в общем-то не нуждающуюся ни в военных действиях, ни даже в войсках, как некое самодостаточное искусство, не подчиненное насущным потребностям и будничным целям военного дела, он предпочитал называть жалонёров «ощутителями пространства», «живыми вехами», «участниками магического движения», «призрачными фигурами», «летучими исполинами». Я представляю, Станислав Модестович, как Вы трепетали от удовольствия и радостно потирали руки, наталкиваясь в трактате на эти и подобные выражения, которые, словно горячие расстегайчики, так и просились в уста «гималайского мистика и философа, короля-литератора Салроша I».

Вторая причина, по которой Вас соблазнили «Тайны...», заключена, полагаю, в самом предмете – в его несомненной древности. Вам представлялось весьма счастливым то обстоятельство, что жалонёрское искусство, как доказал г-н Трояновский, ссылаясь на книги Махабхараты и другие источники древнеарийского происхождения (его точку зрения разделял и мой прадед), возникло «за много столетий и до Христа, и до Будды, и, по-видимому, на Востоке, в царствах Северной Индии, где иные гималайские владыки, имевшие для военных действий в горах небольшие, но очень подвижные рати, называемые на санскрите «акшаухини», не увеличивали их численность, вступая в баталии на равнинах, а старались одерживать верх над противником за счет стремительных, частых и, как правило, совершенно бессмысленных перестроений боевых порядков. Эти неожиданные перестроения, не имевшие ничего общего с разумной тактикой ведения боя, производились с подчеркнутой театральностью непосредственно перед сражением или же прямо в ходе оногo. И если они и преследовали какую-то цель, то, вероятно, только одну – заморозить неприятеля ошеломляющей красотой искусного действия. Его особенный, фееричный характер требовал и особенных средств. Вместо высоких шестов, втыкаемых в землю при обычном построении боевых порядков, использовались обреченные на смерть удалыцы-гиганты. Они выбегали на открытое место и, прежде чем погибнуть от вражеских стрел, успевали цветом своих одежд, направлением бега и общим рисунком, составленным из отмеченных ими линий, сообщить подразделениям «акшаухини», какому из них с какой скоростью и куда перемещаться и в какие геометрические фигуры затем выстраиваться. Вот это уже и были первые жалонёры. Но действовали они не совместно с войском, как нынешние, а отдельно от него. Как бы совершенно пренебрегая его присутствием и наличием, они разыгрывали грандиозную пантомиму; они подвергали различным изменениям, так сказать, пустое пространство, которое, однако ж, не заключая в себе ничего,

кроме какой-то воображаемой рати, беспрестанно меняющей боевые порядки, приковывало к себе такое внимание, как если бы оно действительно было заполнено движущимися войсками. Тогда как маневры реального войска, являющиеся зеркальным отражением жалонёрских маневров, выглядели очень странно. Они представлялись то каким-то неуместным комическим подражанием осмысленному движению быстроногих, пышно наряженных великанов – иные из них, имея за спиною громоздкие сооружения в виде крыльев, изловчились даже перелетать по воздуху на некоторое расстояние, отмеряя дистанции, – то чем-то до крайности неправдоподобным: зыбким волшебным видением, возникающим в результате магического усилия жалонёров. В конце концов воздействие этого зрелища, которому следовало бы называться жалонёрской клоунадой, достигало того, что изумленный и растерянный неприятель терял всякое представление о противостоящем войске, полагая даже в иные минуты, что такого на поле боя не существует вовсе...»

«Как не существует и поля боя», – добавил в озорстве мой прадед, цитируя этот отрывок из «Жалонёрской азбуки» в своем трактате. «И сколь-нибудь устойчивого пространства», – вдруг приписал он, быстро выдернув из-за уха – я так ясно все это вижу – не успевшее передохнуть перо... быть может, то самое перо – огромное, гусиное, слегка растрепанное, – которое он задумчиво держит у правого виска на старомодно поэтичном снимке, украшающем оборот авантюра драгоценной для меня брошюры, скромно выпущенной в свет книгоиздателем С. Е. Кутейниковым в 11-м году, – Вам, конечно, знаком этот снимок, подлейший д-р плутовских наук!.. А может быть, мой прадед употребил для трактата совсем другое перо, то, что покоится теперь у меня в столе в маленьком кожаном саркофаге, – перламутровое, «вечное», сработанное в Берлине и еще хранящее кое-где сухие бронзовые искринки старинных сигарного цвета чернил... Не знаю. Но знаю я вот что – что в описанных Трояновским картинах мой прадед видел не какую-то там «клоунаду» и не «зачатки» жалонёрского искусства, а его высшее достижение...

И наконец, в-третьих. Третья и, быть может, самая главная причина, по которой Вы польстились на «Тайны...», заключается в том, что этот трактат чрезвычайно малоизвестен. Он никогда и никем не цитировался, не изучался и не переиздавался; его даже скорее всего и в глаза-то никто не видел, насмешливо рассуждал д-р Казин и был, увы, недалек от истины.

«Тайны жалонёрского искусства» Павла Туркина были напечатаны, как я уже упоминал, в 1911 году книгоиздательством С. Е. Кутейникова «Донской арсенал», чье кратковременное существование на Атаманской улице в Новочеркасске прекратилось как-то внезапно, необъяснимо и навсегда: издательство оставило после себя лишь смутные слухи о неожиданном помешательстве г-на издателя, человека благородного, но очень странного, любившего фотографироваться в накладных усах и помещать свои шутовские снимки в газетах, да три опубликованных сочинения, среди которых были и «Тайны...». Их тираж составлял всего пятьдесят экземпляров. Сорок восемь из них, насколько мне известно из семейного предания, купил в магазине Сущенкова войсковой атаман Павел Иванович Мищенко, отличавшийся вздорным характером, – купил и тут же казнил их шашкой на глазах изумленного книгопродавца и офицеров охраны, которые, впрочем, были повергнуты в замешательство не столько варварским поступком атамана, сколько бессмысленными звуками, коими он сопровождал свою бесшабашную, яростно веселую расправу: «Аря-урю-ури!!» Из двух экземпляров, оставшихся в живых, один хранится у меня. А вот другой – другой... не знаю, как он очутился в Америке и попал в Ваши ловкие руки. Впрочем, он, должно быть, давненько находился при Вас. Случайно купленный Вами еще в Вашу бытность в Новочеркасске, он как-то, – вероятно, тоже случайно, – угодил в неразборчивую утробу Вашего голодного саквояжа, с которым Вы проворно взбежали декабрьским утром 20-го года по шаткому мостику на зафрахтованный хмурыми офицерами (вместо аванса, конечно, были дружно предъявлены подозрительно мирному весельчаку-капитану стволы револьверов) рыболовецкий баркас... Спустя много лет, обнару-

жив у себя потрепанную книжонку загадочного содержания, Вы могли установить, что она удивительным образом не значится в каталогах даже самых радушных библиотек, склонных давать приют не только счастливым питомцам плодovitых издательств, но и одиноким бродягам, откуда бы они ни явились и о каких бы тайнах ни лепетали – папуасской ли кухни, мироустройства или какого-нибудь диковинного искусства. Вот тут-то Вас и озарила лукавая мысль, что книжечка эта – неучтенная, обиженная душа, бесприютная сиротинушка... ах ты, милая! – просто находка для заботливого мистификатора, сердобольного д-ра Казина.

Кроме того, из предисловия г-на издателя, который в силу каких-то необоримых причуд своего ума отрекомендовал моего прадеда сначала бравым гвардии сотником, потом духовным лицом буддийской общины Новочеркаска и тут же – немецким мыслителем из Дюссельдорфа Паулем Туркингаузенем, а в конце заявил, что за неимением у него, Кутейникова, «фотографического портрета нашего уважаемого брандмайора Павла Туркина» он помещает здесь свое собственное изображение «в отлично сработанных, а-ля император Вильгельм, усах» (на портрете – мой прадед, снявшийся для первой страницы заведенного им же семейного фотоальбома), – из всего этого Вы могли заключить, что сведения о Павле Туркине необычайно сомнительны и эфемерны; что Павла Туркина, быть может, не существовало вовсе; что он некая выдумка, вроде Вашего короля Салроша... Но вот, поди ж ты, не выдумка! Не плод случайной фантазии или умышленного изобретения, а достойно проживший свой недолгий, прерванный собственным револьвером век казачий обер-офицер, военный ученый и владимирский кавалер. Похороненный в Люксембурге, куда его занесла печальная судьба, он оставил на этом свете не только трактат и скупую предсмертную записку, но и потомков, один из которых имеет досуг и терпение разбирать Ваши пакостные грешки...

Теперь, Станислав Модестович, когда я вывел Вас на чистую воду, Вы спросите – чего же я от Вас хочу?.. О! вижу, вижу, как Вы встрепенулись и приосанились, воодушевленные услужливой надеждой, что я сейчас попрошу отступных, – Вам уже грезится этакая картина: Вы посылаете сюда гонца с пакетом соблазнительных купюр, а я в Декору – с тем же гонцом – печатный экземпляр трактата, его оригинал и расписочку о получении внушительной суммы от г-на Икса за какой-нибудь криминальный товар, – письменного обещания забыть навеки и об учености гвардии сотника, и о его трактате Вам, пожалуй, и не потребуется, ибо с пустыми руками я буду выглядеть, в случае возобновления претензий, тем, кем Вы меня – в зависимости от желания – представите публике: возмутительным идиотом, забавным безумцем, отчаянным проходимцем.

Оставьте эти надежды.

Вот мои требования.

Во всех периодических изданиях, где Вы успели (на каком бы то ни было языке; частично или целиком) опубликовать под именем короля Салроша I «Тайны жалонёрского искусства», включая сюда журналы Signs и Research Notes, в которых Вы разглагольствовали о «временных трудностях расшифровки» этого «древнего текста», Вы однозначно заявите, что трактат принадлежит перу русского автора Павла Туркина (род. в 1882 г. в Новочеркасске, ум. в 1927 г. в Люксембурге) и что произведение это не имеет ни малейшего отношения к изучаемому Вами королевству Савитар и многосложному языку гаятри: как видите, я оставляю за Вами право пользоваться и дальше вашими козырными выдумками, если, конечно, это будет возможно – если Вы сумеете выкрутиться после столь неожиданного и – надеюсь – скандального заявления. А чтобы у Вас не возникло желания выдать его за веселую шутку или за старческий бред перетрудившегося ученого, Вам надлежит сопроводить свое сообщение репринтным изданием трактата (за Ваш счет, разумеется) с обязательным воспроизведением портрета автора и бесплатной передачей для дальнейшего распространения (при Вашей финансовой помощи) пятидесятитысячного тиража, – о котором мечтал в свое время мой прадед! – русским казачьим общинам в Америке и Люксембурге.

В случае невыполнения хотя бы одного из этих требований я вынужден буду направить письменные соображения о Ваших художествах, подкрепленные фотокопиями кутейниковского издания «Тайн...», во все четыре академии, где Вы состоите почетным членом, и тогда, Станислав Модестович, у Вас не останется ни единого шанса выйти сухим из воды, сославшись, к примеру (я против этого не возражаю), на подлую выходку какого-нибудь мерзавца-ассистента, позволившего себе выступить с фальшивым переводом под Вашим добрым и честным именем.

Учитывая Ваш былинный возраст, в силу которого толидский фарс может в любое время обернуться декорской трагедией, где главную роль, увы, Вам предстоит исполнить с неотвратимым блеском и неизбежной искренностью, даю Вам на все про все шесть месяцев.

Александр Матвеевич Туркин».

3

Его первый ответ я получил очень скоро. Но что это был за ответ, Боже мой! Я ожидал от него все что угодно. Что он начнет испуганно юлить, многословно оправдываться, просить уступок и отсрочки, стращать меня сфабрикованным обвинением в фальшивомонетничестве и контрабанде – наемным киллером, наконец! Или, как это часто бывает с артистичными шулерами, внезапно пойманными за руку неумолимым крупье, станет в позу задетой чести и оскорбленного достоинства – да как вы смеете клеветать!! и прочее. Но только не это!.. Я не верил своим глазам.

Он невозмутимо поблагодарил меня – да-да! – тоном снисходительного старца-ученого за то, что я «проявляю искренний интерес» к его «посильным трудам». Учтиво заверил, что ему это вдвойне приятно, так как я его «соотечественник и земляк» (землячок-дурачок) и так как я «по всей видимости, молодой человек, серьезно увлеченный», – а уж это не может его не радовать! – «историей древних гималайских государств». Как бы из желания потрафить этой редкостной «увлеченности», он взялся доходчиво расписывать мне, что первые сведения о королевстве Савитар доставил в Европу в 1600 году португальский купец Диего д'Альмиедо (ах, эти вездесущие португальские купцы!); что королевство это, упоминаемое в «различных древнеиндийских источниках», носит имя ведического божества, олицетворяющего Солнце... «название же языку, дорогой Александр (позвольте мне, одинокому старику, обращаться к Вам с дружеской теплотой), дал английский исследователь, офицер Ост-Индской компании Клинтон Уортон, исходя из того, что словом «гятри» именуется гимн-воззвание к божеству Савитару – священнейший гимн Ригvedы, произносить который – представьте себе, Александр! – запрещалось под страхом мучительной смерти кому бы то ни было, кроме дваждырожденных из касты браминов. Написанный на санскрите, он предварял все тексты, найденные в начале XIX века экспедицией Уортона в Западные Гималаи, где на обширном плато были обнаружены, помимо прочего, остатки древних строений, зарисованных еще купцом д'Альмиедо. Сами же тексты, так и не расшифрованные Уортоном, были написаны на неизвестном языке, который он и назвал языком гятри...»

Да, а вот тут-то он и ввернул, между прочим, то, – вероятно, самое главное! – ради чего он прислал мне (так сказать, выкатил пробный шар) эту трогательную цидулку.

Будто бы в угоду моей любознательности и все тем же благородно-просветительским говорком он сообщил, что сын Уортона, математик Джеффри Уортон – уже «член Лондонского Королевского общества» – подошел очень близко к расшифровке загадочного языка, и даже (нотабене!) «попытался осуществить перевод одного савитарского манускрипта, чье название, если воспользоваться военным термином, может и даже должно звучать как «Тайны жалонёрского искусства» – буквально же «Тайны искусства воинов-вех», хотя сочинение это, значащееся в «Каталоге савитарских рукописей Джеффри Уортона» под номером 95, трактует, в сущ-

ности, о тайнах пространства. А так как этот достойный ученый, как Вы понимаете, Александр, все же не справился в полной мере...» Ну нет! Довольно!!

Я коротко отписал ему в тот же день, что не желаю слышать ни о достойных ученых, ни о пронырливых купцах, ни о деятельных британских офицерах, равно как и о Савитаре в целом, и что он напрасно надеется выиграть время, изображая из себя невинную овечку! «Меня интересует только *одна* Ваша мистификация, трактат моего прадеда под именем короля Салроша! И только *одно* сообщение – принимаете ли Вы мои условия? Я жду».

Подобных коротких писем я отослал ему в течение пяти месяцев с полдюжины. Он молчал. И вдруг прислал телеграмму:

«Бога ради, Александр, не торопите меня. Я уже рядом. *Казин*».

Через месяц пришло письмо.

4

«Приветствую Вас, дорогой Александр!

Приветствую, обнимаю и спешу поделиться с Вами – теперь я могу это сделать без оглядки! – некоторыми сведениями и соображениями относительно тайны «Тайн жалонёрского искусства»... О, если б Вы знали, мой добрый и бесценный друг, как я обязан Вам!..

Однако ж к делу, к делу!

В одном из своих писем Вы мельком упомянули, что имеете на руках оригинал трактата Вашего покойного прадедушки Павла Евсеевича Туркина. Но так ли это, Александр? Нет-нет, не подумайте, что я хочу уличить Вас в заведомой неточности! Вы честный и сердечный молодой человек, который может только искренне заблуждаться... Впрочем, не это важно.

Мне наконец-таки удалось обнаружить не только печатный экземпляр трактата, тот самый, о судьбе которого Вы строили различные догадки, но и рукописный оригинал. И где бы Вы думали? В одном захудалом частном собрании. А я-то, старый упрямец, назойливо тревожил Библиотеку конгресса! Но что я говорю, Боже мой! Где именно находились эти сокровища – тоже не важно. А важно вот что!

Текст трактата, напечатанного в 1911 году книгоиздательством Кутейникова в Новочеркаске, – даже при беглом взгляде на него! – обнаруживает несомненное сходство с текстом, написанным в IV веке до Р. Х. монархом Савитара Салрошем I. Что же касается оригинала, то он до такой степени совпадает в главных своих идеях и манере их изложения с савитарским текстом, что если рукопись Вашего прадедушки перевести на язык гаятри, заменив цитаты из Библии на близкие по смыслу цитаты из Вед, то это и будет в точности трактат короля Салроша!..

Вы, наверное, думаете, Александр, что это совпадение несказанно удивило меня. Нет, ничуть! Я ждал! Ждал, быть может, всю свою жизнь, смирившись ради этого с печальной участью зажитья на этом свете до полной дряхлости, что когда-нибудь найду подтверждение тем своим неотступным идеям, которые мне снискали, увы, лишь репутацию сумасшедшего, уже давно и бесповоротно, дорогой Александр, утвердившуюся в кругу моих коллег.

Ваше первое послание пробудило во мне надежду. Но я боялся спугнуть удачу. Сколько раз мне уже казалось, что я рядом с нею – что в руках у меня неоспоримые доказательства моих давних и настойчивых утверждений, в то время как речь шла о банальнейших плагиатах, а не о подлинном совпадении текстов! Да... и сколько раз, сколько раз, прибегая к утонченным уловкам, меня разыгрывали всевозможные шутники, осведомленные о моих многолетних поисках! Я чуть было не отнес и Вас к их числу, отчего и в первом письме к Вам – не стану теперь скрывать – старался всячески уклониться от обсуждения Ваших претензий, ошибочно почитая за насмешливую выдумку и эти претензии, и Павла Туркина, и его трактат, и все, что Вы сообщали мне так пылко и так язвительно. Но когда я убедился, что Вы не

шутите, когда я своими глазами прочитал сочинение Вашего прадедушки, я был впервые по-настоящему счастлив и весел. И только исследовательский инстинкт заставлял меня делать и тщательно проверять скептические предположения.

Первое, что пришло мне в голову, было вполне вероятным: Павел Туркин мог воспользоваться переводом Джеффри Уортона, сделанным в 1862 году и опубликованным годом позже в Лондоне; он мог перевести с английского на русский уортоновский вариант «Тайн жалонёрского искусства» и выпустить его в свет под видом собственного сочинения. Но я тут же отбросил это предположение, как только перечитал перевод Уортона, – он в такой же мере далек от савитарского оригинала, в какой мере близок к нему трактат Павла Туркина. Уортон вообще не мог сколь-нибудь точно передать содержание трактата, поскольку гаятри в то время еще не был полностью расшифрован.

А вдруг, сделал я второе, более чем смелое предположение, – был расшифрован. И не кем-нибудь – а Вашим прадедушкой! Вздор, скажете Вы. Вовсе нет. Если б, допустим, Павел Евсеевич был хорошо знаком с трудами обоих Уортонов, обладал бы при этом некоторыми специальными знаниями и навыками, имел бы особую склонность ума, располагал бы широким выбором разнообразных методов и был бы, наконец, не лишен возможности длительно изучать савитарские тексты, пребывая годами в Лондоне, где он пользовался бы неограниченным доверием и неизменным радушием Джеффри Уортона, такое могло бы случиться.

Из всего перечисленного я вынужден был безоговорочно отказать Павлу Туркину, как отказал бы всякому исследователю того времени, в последнем. До 1912 года, когда все савитарские рукописи перешли по завещанию Джеффри Уортона, скончавшегося за письменным столом над неоконченной расшифровкой языка гаятри, к Лондонскому Королевскому обществу, они были недоступны для изучения.

Текст Павла Туркина – и уж в этом нас с Вами, мой дорогой Александр, мой драгоценный, мой умница, теперь никто не разубедит, возник совершенно независимо от каких бы то ни было текстов... Мне кое-что удалось выяснить и об обстоятельствах его возникновения.

Вы, скорее всего, не знаете, Александр, что на оригинале есть надпись, датированная 1910 годом. Это собственноручная резолюция военного министра России, генерала от кавалерии В. А. Сухомлинова относительно трактата Вашего прадедушки. Ее содержание, а также некоторые официальные бумаги, копии которых я получил из Парижа и Люксембурга от держателей архивных документов Канцелярии войска Донского, свидетельствуют о том, что Павел Евсеевич взялся писать трактат вовсе не по собственному побуждению, как Вы, быть может, предполагаете, а по приказу военного начальства. Зимой 1910 года на имя генерала Федора Таубе, занимавшего тогда пост войскового атамана, поступила служебная записка от Сухомлинова, в которой министр довольно резко и грозно, находясь, вероятно, под воздействием дурного настроения или во власти неодолимой скуки, упрекал атамана в том, что казацкие офицеры «в силу высокомерия, а может, и злого умысла... нисколько не участвуют в распространении военного опыта для пользы Российской армии». Далее он холодно сообщил, что «усмотрена срочная необходимость в новом учебнике для жалонёров». А так как ему, Сухомлинову, «прекрасно известно, что наилучшим образом жалонёрская служба поставлена в казачьих войсках», то он приказывает атаману Таубе «немедленно сыскать у себя на Дону надлежащего автора в чине обер- или штаб-офицера и не позднее осени представить готовую рукопись в министерство».

Таубе вызвал сотника Павла Туркина, объявил ему соответствующий приказ и уже к лету 1910 года от Рождества Христова, – я выражаюсь, Александр, так торжественно, потому что произошло нечто величественное и непостижимое, – трактат «Тайны жалонёрского искусства» был написан... во второй раз, на русском языке, спустя 2300 лет после того, как он впервые дал о себе знать на гаятри...

В августе рукопись (разумеется, не прочитанная атаманом, который, однако ж, в поспешном приказе о награждении сотника пятью золотыми империялами из войсковой казны высоко оценил и «дельный слог», и «трезвую рассудительность» автора) уже находилась в Петербурге; 14 ноября она предстала перед глазами министра, нечаянно вспомнившего о своем поручении.

Можно представить, какими гримасами искажалось его лицо, когда вместо учебных рекомендаций он читал, к примеру, такие пассажи:

«Жалонёром, в сущности, является всякий, кто состоит по воле Всевышнего в особенных – жалонёрских – таинственных отношениях с пространством. И более того. Приверженность Истине побуждает меня сказать всем, кто способен это понять: не жалонёры возникли в связи с условной необходимостью ориентироваться в пространстве при всяких в нем эволюциях, а пространство как таковое – как настойчивая, неодолимая иллюзия – существует лишь благодаря жалонёрам, на которых Господь возложил обязанность поддерживать эту величественную иллюзию, сравнимую по силе и вечной загадочности только с иллюзией времени. Ибо лета Всевышнего, как известно нам из псалма 101-го, никогда не кончатся. Потому что нет у Всевышнего лет, – нет у Него того исчезающего, истекающего, текучего, что мы называем временем, принимая уж слишком близко к сердцу некоторую неустойчивость зримых образов. Но нет у Него и пространства. Никакого. Ни конечного, ни бесконечного. А есть только Его переменчивое и могущественное воображение. Ибо если б пространство было бы чем-то большим, чем видимость, если б оно обреталось за пределами Его воображения, то оно включало б в себя и Его, необъятного, непоглощаемого, подчиняя Его печальным законам бренности, тления и изменчивости. Но сказано в том же 101-м псалме о земле и небесах: «Они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменшишь их, – и изменятся. Но Ты – тот же...»

И далее:

«Пространство и есть эта дивная риза, которая может подвергнуться – и подвергается во всякую минуту! – множеству чудесных изменений. Вечной, необозримой и неизменной ризы, предназначенной для общего пользования, не существует. Пространство возникает по мере надобности для каждой отдельной души и для каждого отдельного случая. Его разворачивают, как ризу, Жалонёры Господа Бога, наделенные чувством пространства и властью внушать это чувство...»

«Как полки не могут двинуться дальше вдоль тех воображаемых линий марша, что рисуют им летучие исполины, если последние вдруг перестанут отмечать своими фигурами обдуманый полководцем путь, так никакое движение во Вселенной – мысленное или физическое – не может осуществиться, если ему не будут способствовать Жалонёры Господа Бога, живые вехи Создателя, Его тайные ангелы, неусыпные стражи Его Божественного воображения, которые не допустят ни разрушения иллюзии, ни чрезмерного увлечения ею...»

Возвращая рукопись в Новочеркасск с резолюцией, адресованной атаману Таубе, министр отбросил всякие формы служебной вежливости: «Это что такое?! – написал он на титульном листе, пересекая длинными диагональными строчками название трактата. – Да читал ли ты, сукин сын, этот бред?! Так вот! – прочти и расследуй: в своем ли уме твой сотник

или он подлец и изменник!! В первом случае немедленно препроводить его в сумасшедший дом, во втором – взять под стражу и доставить сюда, в Петербург, ко мне лично!!»

Рукопись была получена атаманской канцелярией уже при Павле Ивановиче Мищенко, сменившем Таубе на посту атамана зимою 1911 года. Новый атаман то ли по небрежности, то ли намеренно не стал разбираться в этом деле своего предшественника, которого он, как известно, недолюбливал за его немецкое происхождение.

Так или иначе, летом трактат был опубликован неожиданно возникшим и так же неожиданно исчезнувшим издательством «Донской арсенал». Возможно, что г-н издатель, этот загадочный С. Е. Кутейников, о котором мне ничего не удалось выяснить, кроме того, что в Великом Герцогстве на кладбище близ Дюделанжа между могилами есаула Степана Черкесова и сотника Павла Туркина покоится прах некоего Сергея Ефремовича Кутейникова родом из Новочеркасска, был очень близким и преданным другом Вашего прадедушки, иначе бы он не решился выпустить в свет трактат, запрещенный к печати военным министром. Впрочем, трюк с фотографией, на которой, как Вы утверждаете, все ж таки изображен Ваш прадедушка, а не г-н издатель, будто бы предлагающий публике свой собственный фотопортрет (да еще в накладных усах!), и явно озорное предисловие свидетельствуют о том, что Кутейников (или Ваш прадедушка, выступивший в роли издателя под этой фамилией, – да-да, Александр, такое могло случиться) стремился обратить факт издания в веселую шутку. Но это не спасло тираж от той чудовищной расправы, которую Вы так живо и изумленно описали, не ведая, что атамана Мищенко сурово отчитал по телеграфу военный министр, прознавший об издании. Последний распорядился «изничтожить любыми способами эту бредовую книжонку, а негодяя издателя призвать к ответу». И это счастье, мой дорогой Александр, что два печатных экземпляра и рукописный оригинал уцелели! Ибо теперь я смогу предьявить доказательства тому, о чем я неустанно твердил полжизни. А именно:

существуют неизбежные тексты, природа которых такова, что они могут быть написаны дважды, трижды и множество раз совершенно неизвестными друг другу авторами.

Эти тексты, Александр, несмотря на свою внешнюю завершенность и кажущуюся самодостаточность, являются лишь разрозненными и невнятными фрагментами одного-единственного, по-настоящему связного и всеобъемлющего Текста. Их независимость друг от друга – иллюзорна, а содержательность – обманчива, ибо каждый из них в отдельности, будучи темным отрывком, незаконченным предложением, а иногда только величественной морфемой или Божественным знаком препинания, не несет в себе ни малейшей крупинки того ошеломляющего смысла, который возникнет при их полном слиянии в окончательно проявившемся и воистину завершенном Тексте. И ни один из них, Александр, какие бы блистательные сочинители – чуткие повивальщицы – ни способствовали бы его появлению на свет, не дает даже смутного представления о красоте, совершенстве и виртуозности стиля, которым написан, пишется, будет написан – категория времени не имеет здесь никакого значения! – единый и вечный Текст. Его загадочные фрагменты извлекаются из области непроявленного уже тысячи лет некой неумолимой силой, которая не считается с индивидуальными замыслами и устремлениями разноязыких авторов... Возможно, что и король Салрош, так же как и гвардии сотник Туркин, был намерен написать нечто очень полезное для военной практики, – его трактат в этом случае должен был выглядеть так, как перевел его Джеффри Уортон. Но с королем Салрошем случилось то, что случилось с Вашим прадедушкой весной 1910 года. Королем овладело некое светозарное сумасшествие, длительным приступом которого сопровождается возникновение всех неизбежных текстов. Но почему – Вы спросите – текста, написанного Салрошем, было недостаточно для той высшей силы, которая неотступно и неуклонно, подчиняя себе обезумевших авторов, проясняет таинственный и окончательный Текст? Да потому, что слишком

велика была возможность, что тексты, созданные в затерянном королевстве, не будут обнаружены, что язык гаятри не будет расшифрован. Однако ж главное обстоятельство, повлиявшее на решение всемогущего Провидения, заключается в том, что англичанин Джеффри Уортон неверно передал содержание трактата в своем убогом переводе. Случай с Вашим прадедушкой подтверждает, что существует непреложный закон:

всякая возможность утраты неизбежного текста, его неверное истолкование или неточное выполнение высшей воли первоизбранным автором влекут за собою повторное проявление неизбежного текста в другом месте, в другое время, на другом языке и при содействии другого автора.

Все будет написано. И все будет написано так, как оно должно быть написано.

Но удивительно вот что. Даже если перечисленные обстоятельства не имеют места, один и тот же фрагмент великого Текста могут одновременно проявлять различные авторы, так же как Дагерр, Ньепс и Талбот, еще не зная друг о друге, усердно совершенствовались в тайне от всего мира открытые ими и очень сходные приемы светописи. Ибо неизбежные тексты, Александр, – такова их изначальная сущность, – не сотворяются, а открываются. Они подобны крохотным островам, показавшимся на поверхности океана, из глубины которого неудержимо всплывает гигантский Континент, уже имеющий множество названий, три из них – «Авьякта Парва» (Непроявленная Книга) индусов, «Умм ал-Китаб» (Мать Книги) и «Имам Мубин» (Ясный Оригинал) арабов – представляются мне наиболее удачными, но и они временны, как временны названия отдельных точек этого вечного Континента. Когда он всплывает целиком, когда откроются его дивные ландшафты, тогда исчезнут пестрые и бесчисленные названия ничтожных участков безграничной суши, забудутся имена их вдохновенных первооткрывателей и утратится всякий смысл устанавливать личность древнего мореплавателя, некогда ступившего на исчезающий, слившийся с необъятной и вечной землей островок. Все это уже происходит с некоторыми писаниями. И будет происходить со всеми неизбежными текстами.

Но до тех пор, пока «Авьякта Парва» не проявится целиком, пока Континент «Имам Мубин» не станет видимым, будут блуждать в океане, скрывающем Единосущный Текст, подневольные мореплаватели, одержимые поиском некоего острова, который, несомненно, существует и даже, быть может, уже открыт и назван чьим-нибудь именем. Чьим, и когда, и на какой срок – для острова, в сущности, безразлично.

Для «Тайн жалонёрского искусства», как и для всякого фрагмента Непроявленной Книги, безразлично, кем, когда, сколько раз и при каких обстоятельствах они были написаны... и кто написал их первым, мой милый Сашенька, – книгоиздатель С. Е. Кутейников, король Савитара Салрош, «подлейший» д-р Казин или твой «благонравный» прадед... твой зажившийся прадед, который очень, очень давно, когда в той уютной западной комнатке, что озаряется к вечеру восхитительным светом, окрашенным витражами в арочных окнах, покрикивал в люльке твой годовалый дед (там же ли у тебя теперь детская?), взял себе имя и документы несчастного бильярдного шулера, раздавленного ландолетом в безлюдную ночь, а заодно и выкупил из заклада его захудалый домишко в Криничном, где мне довелось прожить без малого десять лет...

Я бесконечно тебе благодарен, Сашенька, за твою преданность благочинному призраку, который ты лелеешь в памяти, – в который превратился и для тебя, и – увы – для меня гвардии сотник Туркин, – он заставляет меня теперь закончить это письмо совсем не так, как хотелось бы мне; он твердит мне, что все мои рассуждения о неизбежных текстах ты сочтешь за попытку выкрутиться – за хорошо обдуманый бред многоопытного комедианта, решившего представиться сумасшедшим... Ах, Сашенька, это не так! Я делился с тобой сокровенными мыслями... Но пусть исполнится воля призрака! Он тронут твоими сердечными словами о

нем. И он говорит: я признателен тебе, милый Сашенька, за ту праведную жестокость, с которой ты выставил д-ру Казину суровые, но справедливые требования. Он, конечно, не сможет их выполнить, потому что разоблачение и позор обрушатся на него немедленно, и никакие ссылки на подлецов-ассистентов не спасут от бесчестия его «доброего имени». Но разве тебе не достаточно и того, что лукавый д-р все же открылся тебе... Я с самого начала знал, что он сделает это, – сделает неизбежно. Я надеюсь, что из того, что он сообщил тебе относительно моего злосчастного трактата, пережившего всю мою жизнь, написанного и изданного мною в порыве какого-то необоримого безумия, приступ которого повторился и здесь, в Америке, ты уже понял, почему мне пришлось скрываться под видом Станислава Казина, чье скандальное имя, затрепанное газетенками, оказалось гораздо надежнее, чем имя выдуманного мною книгоиздателя, – желтый дом угрожал мне лишь в лучшем случае, в худшем – мне уготовлен был трибунал. К этому я должен добавить, Сашенька, что в Великом Герцогстве близ Дюделанжа я похоронил не без почестей двух нищих и эксцентричных казачков, дружно застрелившихся, или, лучше сказать, отрезвивших хмельные головы у меня на глазах. Оба они были из Хомутовской станицы, их настоящих имен я не помню. Но помнится мне хорошо, что младшего урядника с щербатым лицом (вдруг скакнувшего, прости Господи, в сотники) я похоронил под своим, вахмистра – под именем Кутейникова, а вслед за этим послал домой ту обманную предсмертную записку, о которой ты, кажется, упоминал. Зачем я все это сделал, Саша? Не знаю. Быть может, это было мрачное озорство... отчаяние... или желание забыть навсегда все свои горемычные имена, кроме одного, – с которым я жил десять лет в России и с которым покинул ее. С этим именем я свылся и слился душою. И если б теперь я мог... Ах, если б я мог просить тебя, Сашенька, проявить хоть толику милосердия к д-ру Казину – отдать ему снисходительно хоть малую часть из того, что с легкостью достается счастливому призраку в гвардейских погонах, несомненно достойному твоих трепетных чувств... Но нет. Я утратил всякое право просить тебя об этом, как утратил и право сурово потребовать от тебя исполнения моей последней воли – оставить в покое д-ра Казина, чье имя и тайны ты нацелился сделать добычей скандальных статей и... но, Боже мой, о чем я говорю!.. Прости. Да и, пожалуй, уже – прощай!

Твои требования не выполнены. И потому ты волен разоблачить меня. Все в твоей власти. Однако же не спеши, Александр. Не спеши отвечать мне. Только призрак был несказанно рад твоим письмам. Только он готов был лететь к тебе, чтоб увидеть тебя, говорить с тобою, обнять и прижать тебя к сердцу и предъявить тебе множество доказательств того, поверить во что почти невозможно. Д-р же Казин неумолим и расчетлив. Он знает, что, оставшись наедине с собою, ты вынужден будешь отвергнуть язвительные сомнения желчного разума и поверить без всяких доводов, что где-то там, в захолустном штате Айова, в Богом забытой Декоре жадно рассматривал каждую букву твоих ядовитых посланий твой прадед... словом, ты уже понял, наверное, что я распорядился послать тебе это письмо лишь после моей смерти, Сашенька, – моей настоящей смерти... Ну да, ну да... А может быть, д-р Казин вовсе не собирается умирать?.. И может быть, на последних страничках этого письма он только хотел продемонстрировать Вам, уважаемый Александр, как происходит вторжение неизбежного текста... Шучу, Саша, шучу. Твой прадед – неисправимый шутник.

Прощай».

5

Не знаю, зачем я пошел в тот душный июньский денек, когда получил это письмо, к горбатой Дашеньке? Что я хотел выяснить у несчастной старухи, неотлучно пребывающей в запоевном мире, чудесно выскользнувшем из потока времени и утвердившемся на неподвижных берегах ее сознания, исполненного нерушимых иллюзий... «Стасик играет на бильярде»... всегда, во веки веков. Боже мой! Я даже не могу припомнить хорошенько, о чем расспраши-

вал ее, лежавшую в смрадном тулупе на улице, на лавке, под низким окном осевшего в землю дома, – что кричал ей, нетерпеливо топая ногою и наклоняясь к ее глухому, источающему запах подвальной прохлады уху, – что требовал от нее?..

В Криничном переулке гудели и вздрагивали кусты, осторожно осаждаемые пчелами и на лету пронзаемые шмелями; тучные стрекозы ударились об оконные стекла, падали на черный тулуп и на серое лицо старухи и тут же взлетали, мгновенно превращая в призрачное сияние передохнувшие крылья. Дашенька поднялась – как будто для того, чтоб окинуть взглядом картину июньского торжества насекомых; уставилась на дерзкий кустик, выросший прямо из стены ее дома, потом взглянула на меня. Да-да, она узнала меня... я тот самый чиновник по акцизной части, который вечно (от Сотворения мира до Судного дня!) преследовал и будет преследовать ее брата, проигравшись ему до копейки вне времени и пространства. Ее глаза – прежде тусклые, а теперь загоревшиеся, излучали ровный, чистый и яркий свет сумасшествия.

– Что?! Что?! – неожиданно закричала она, замахиваясь на меня клюкой. – Обыграл тебя Стасик, несчастный акциз!.. И поделом тебе!! Поделом!!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.